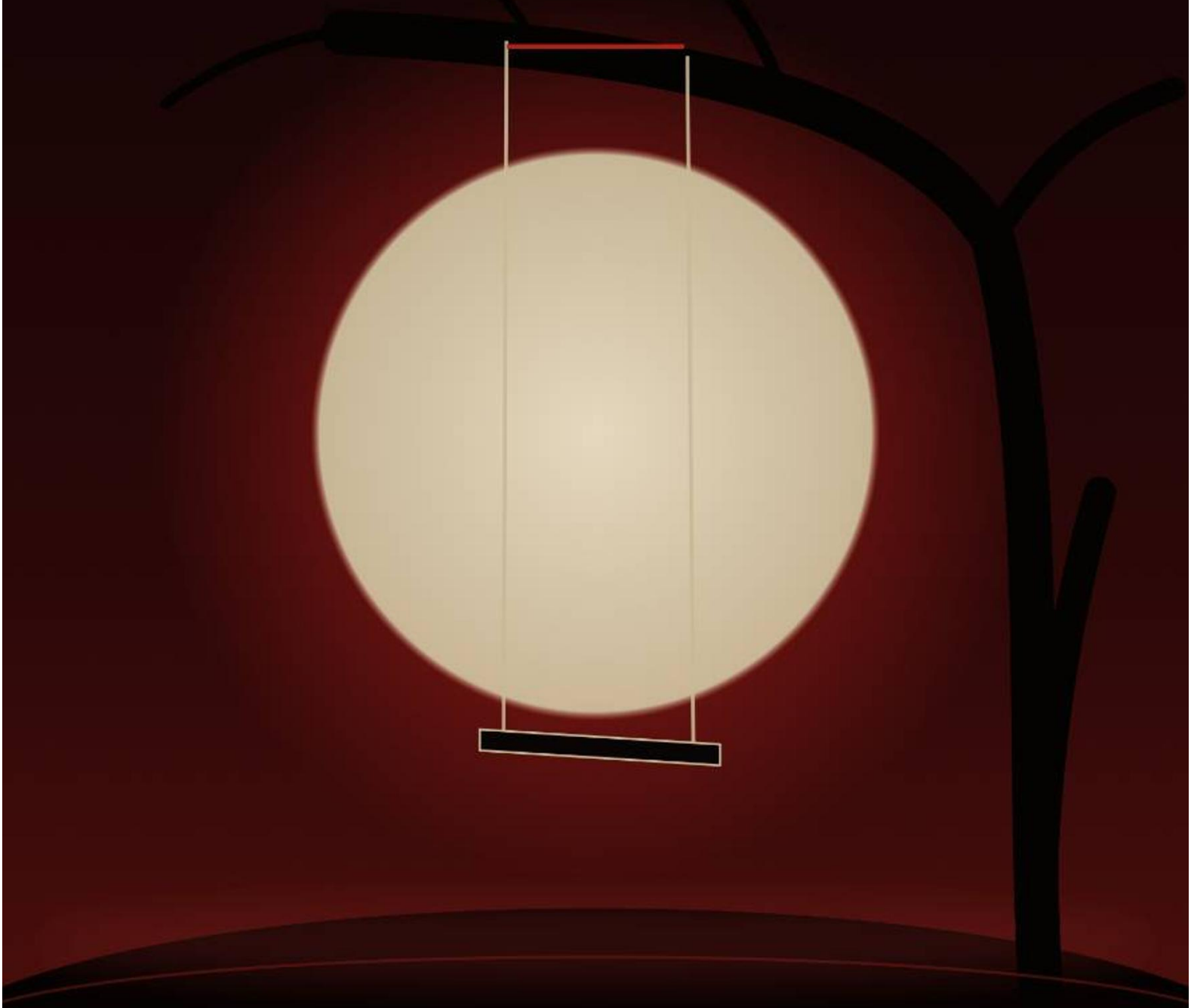
РОМАН УЖАСОВ

КАЧЕЛИ



Не качай ногами — разбудишь тех, кто внизу.

АНДРЕЙ РАТИБОРО

Андрей Ратиборо

КАЧЕЛИ

«Автор»
2026

Ратиборо А.

КАЧЕЛИ / А. Ратиборо — «Автор», 2026

«Не болтай ногами — чертей качаешь».Так говорили детям. Никто не спрашивал, кого именно качают.Самарская губерния, середина XIX века. Платон Верещагин, потерявший дочь, приезжает в глухую слободу Подпорожье, где пропадают невесты, колодцы дают водку, а под каждым порогом что-то лежит. Здесь не принято сидеть, свесив ноги. Здесь не ходят в ногу. Здесь уже сто восемьдесят лет кто-то тихо качает колыбель и ждёт, когда ему откроют.Над слободой звонят набаты, к ней идут солдаты, а старые церковные тайны выходят наружу. Чтобы остаться человеком, Верещагину придётся лечь на дорогу, по которой уходят мёртвые.«Качели» — роман о страхе потери, о двух матерях и о цене, которую платят за то, чтобы любимые могли уйти. Смерть здесь не конец. Она только начало другой истории.

© Ратиборо А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Качели 5
Глава 1. Дорога в Постниковы Овраги 6
Глава 2. Второй 13
Глава 3. Первые правила 17
Глава 4. Молчание 22
Глава 5. Овраг 28
Глава 6. Тимоша 39
Глава 7. Выселки 53
Глава 8. Третья смерть 67
Глава 9. Тетради 80
Глава 10. Имена 91
Конец ознакомительного фрагмента. 93

Андрей Ратиборо
КАЧЕЛИ

Качели

Роман ужасов в тридцати трёх главах

Глава 1. Дорога в Постниковы Овраги

Исправник Крюков принял судебного следователя Верещагина в десятом часу утра, в кабинете, где окна были заклеены на зиму бумажными полосами, а на столе остывал самовар. Это был грузный человек с мясистым лицом, которое умело выражать только две эмоции: служебное рвение и служебную усталость. Сегодня преобладала вторая.

— Вы, Платон Ильич, человек новый в уезде, — сказал он, не предлагая сесть. — Но по рекомендации толковый. Поэтому скажу прямо. Бумагу о бунте писал не я. Мне её продиктовали.

— Кто?

— Неважно. Важно, что в бумаге ложь. Никакого бунта в Постниковых Оврагах нет. Староста Лапин просит не солдат, а… — Крюков поискал слово, не нашёл и махнул рукой. — Он просит человека с головой. Вы с головой. Поезжайте.

Верещагин помолчал.

— Позвольте уточнить. Вы отправляете меня расследовать убийство, которое по документам называется бунтом?

— Я отправляю вас посмотреть на мёртвого мужика. А что вы там увидите, это уже ваше дело. — Исправник отодвинул папку, которую до того придерживал ладонью. — И вот ещё. Это не для протокола.

Он достал из ящика сложенный вчетверо лист и положил на стол, не раскрывая.

— Год назад, в октябре, в том же овраге нашли пастуха. Фамилия Сорокин. Дело закрыто: медведь. Тело мы видели. Медведь, ваше благородие, не срезает людей, как мы с вами срезаем свечные огарки. Но медведь был удобен. Весной пропал землемер из межевой партии. Тот самый, что работал именно на тех выселках. Лошадь его нашли на дороге, спокойную, со сбруей. Самого — нет.

— Вы это скрыли.

— Я это не записал, — поправил Крюков без обиды. — Есть разница. Записанное надо объяснять. — Он наконец посмотрел Верещагину в глаза. — Не берите с собой конвой. И жандармов. Они там больше мешают. Берите ямщика из слободы, он вас и привезёт, и увезёт, если будет кому увозить.

— Звучит так, словно вы не рассчитываете на моё возвращение.

— Я рассчитываю на то, что вы вернётесь и скажете мне, что это был медведь, — сказал исправник. — Очень на это рассчитываю. Идите.

Верещагин вышел на крыльцо и долго стоял, глядя, как над Волгой собираются тучи. Лист остался на столе нераскрытым. Он понял это только на полпути к гостинице: Крюков показал бумагу, но не дал её прочесть. Ему не нужны были слова на ней. Ему нужно было, чтобы следователь знал, что она существует.

Верещагин выехал из Самары в четыре часа пополудни, когда небо над Волгой уже стало цвета мокрого железа.

Он не любил дорогу. Не любил запах тулупа, который ему выдал ямщик, не любил мерное покачивание кибитки и особенно не любил того, что в голове, как в плохо запертой комнате, всё время гуляли чужие слова. «Бунт в слободе». «Староста просит солдат». «Крестьяне боятся выходить после заката». Бумага, пришедшая от исправника, была написана с таким нажимом, что перо в двух местах прорвало лист.

— Далеко ещё, братец? — спросил он.

Ямщик, широкий мужик с обмороженными скулами, не обернулся.

— К ночи будем, барин. Если не припозднимся.

— А что, есть причина припоздниться?

Ямщик помолчал так долго, что Верещагин решил: не ответит. Лошади фыркали, колёса вязли в раскисшей колее. Наконец мужик сказал, не поворачивая головы:

— Вы, барин, ноги-то под себя подберите. Не свешивайте.

Верещагин усмехнулся. Он сидел, действительно, боком, одной ногой наружу, как привык в дороге.

— Это ещё зачем?

— Так принято.

— У вас в слободе многое «принято», как я погляжу.

— У нас, барин, до сих пор все живы, — ответил ямщик ровным голосом, — кто принятое соблюдал.

Верещагин хотел возразить, но промолчал. Что-то в этой фразе было не суеверным, а деловым, как у человека, который называет цену. Он убрал ногу в кибитку, тут же устыдился этого движения и всё-таки не вернул ногу обратно.

Через час стемнело. Лес по обе стороны дороги стал сплошной чёрной стеной. А когда кибитка пошла под уклон, к оврагу, Верещагин впервые услышал это.

Скрип. Тихий, ритмичный, откуда-то снизу и издалека. Так скрипят качели на дворе, когда на них качается кто-то очень тяжёлый.

Ямщик перекрестился. Не торопясь, широко, три раза.

— Не слушайте, — сказал он. — Это ещё не за вами.

Верещагин откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Он знал, что так бывает: человек слышит скрип, потому что хочет его слышать.

Три года назад, в Саратовской губернии, он расследовал дело, о котором потом долго не любил вспоминать. Деревня уверяла, что младенцев душит кикимора. Умерло четверо за зиму. Священник служил молебны, бабки окуривали избы, а следователь Верещагин, двадцати девяти лет, с аккуратной бородкой и новеньким дипломом, провёл в той деревне шесть недель и доказал, что младенцев душила собственная мать, дважды рожавшая мёртвых и не простившая этого живым. Кикимору она придумала сама. Деревня в неё поверила, потому что так было легче.

Он тогда сказал себе: страх всегда имеет имя и адрес. Нужно только найти человека, которому он выгоден.

Верещагин повторил это про себя дважды, под скрип колёс, и не заметил, что поджимает ноги ещё выше.

Слобода показалась за полночь. Ни одного огонька в окнах, ни лая собак, только низкие избы, жавшиеся друг к другу, как скот в метель. Верещагин отметил про себя странность: в деревне, где ночью не спят от страха, обычно жгут лучины. Здесь окна были наглухо закрыты ставнями, и сквозь щели не пробивалось ничего.

Кибитка остановилась у большого двора с высоким тыном. Ворота отворились раньше, чем ямщик успел постучать. Из темноты вышел человек с фонарём, коренастый, борода лопатой, в расстёгнутом полушубке. Фонарь он держал низко, почти у самой земли.

— Староста Лапин, Сидор Кузьмич, — сказал он. — Просим, ваше благородие. Только вы, как слезать будете, на землю сперва правую поставьте. И не пяльтесь по сторонам. Во дворе нынче лишнее глазу ни к чему.

Верещагин хотел ответить колкостью, но вместо этого просто спустился на землю. Правой ногой. Он не мог сказать, зачем.

В избе было жарко, душно и очень чисто, как бывает там, где чистотой борются со страхом. Пахло щами, воском и чем-то ещё, резким, травяным. Верещагин огляделся и отметил то, чего не замечал в других крестьянских домах. По лавкам сидели люди: хозяйка, два взрослых

сына, девка лет шестнадцати. Все сидели ровно, как на церковной службе, поставив обе ступни на пол. Ни одна нога не болталась и не была заброшена на другую. А на самой дальней лавке, у печи, Верещагин увидел бабу, которая держала на руках ребёнка и обхватила ладонью обе его пухлые пятки, словно грела. Или удерживала.

— Садитесь, ваше благородие, — сказал Лапин. — Щей отведаете. Не обессудьте, мясное только в праздник.

Верещагин сел за стол и привычно закинул ногу на ногу. Хозяйка, не говоря ни слова, подошла и подставила под его сапог низкую скамеечку. Поставила обе ноги следователя на неё, мягко, но так, что сопротивляться было неловко. Затем отошла, не глядя в глаза.

— Это, позвольте узнать, что такое? — спросил он.

— Порядок, — сказал Лапин. — У нас в слободе издавна так: гостю ногу на ногу не положено. Нечисть, говорят, любит, когда нога на ногу. Зацепиться ей есть за что.

— Вы, Сидор Кузьмич, человек, похоже, неглупый, — сказал Верещагин. — Староста. Грамотный?

— Читаю, ваше благородие. Писать хуже.

— Тогда скажите мне прямо, без скамеечек. Что у вас происходит?

Лапин долго молчал, шевеля бородой. Потом отодвинул миску.

— Фрол Нечаев помер. Неделю назад. Мужик крепкий, не пьяница, семейный. Поехал в овраг за хворостом. Возница, Мишка, остался при лошади, а Фрол присел на телегу ножки свесить. Мишка клянётся, что и минуты не прошло, как услышал скрип. Обернулся, а Фрол сидит, смотрит перед собой, и лицо у него такое… — Староста замялся. — Будто он что-то понял. Что-то, чего лучше бы не понимать. А ног нет. Ниже колен нет, ваше благородие. И крови нет. Вся вышла в колею, а на земле её чуть-чуть, горсть.

— Волки?

— Волки режут рвано. Тут срез гладкий, как по бумаге ножницами.

— Значит, человек. Кто-то с очень острым орудием, — сказал Верещагин. — Или несколько человек. Были ссоры? Долги? Чужие в округе?

— Чужие были, — сказал Лапин. — Весной приезжали землемеры. Железную дорогу собираются тянуть, говорят. Но то весной.

Верещагин ничем не выдал, что уже слышал об этом утром.

— Где тело?

— В леднике. Мы его не хоронили, всё ждали вас. — Староста наконец поднял глаза. — Люди боятся, ваше благородие. Не бунтуют они, как исправнику донесли. Просим не ловить никого, а постоять. Хоть у околицы, хоть у оврага. Чтобы было кому слушать.

— Слушать что?

Лапин не ответил. В дверях послышался сухой шорох, и Верещагин обернулся.

На пороге стояла старуха. Маленькая, сгорбленная, в тёмном платке, так низко надвинутом, что видны были только подбородок и узкий рот. Она не переступала порога, а стояла прямо на нём. И Верещагин понял, что именно это показалось ему странным: ни один из сидевших в избе даже не посмотрел в её сторону. Словно её не было. Словно все знали, что смотреть нельзя.

— Агафья, — сказал Лапин вполголоса, уже не ему.

Старуха подняла голову. Глаза у неё оказались светлые, почти белые, мутные, как молоко в блюдце. Она смотрела не в лицо Верещагину. Она смотрела вниз, на его сапоги.

— Сапоги сними, барин, — сказала она. — Хоть на ночь.

— С какой стати?

— Кожа держит тепло. А тепло они чуют.

— Кто «они»?

Старуха не ответила. Только покачала головой, как качают над больным ребёнком.

— Тогда хоть с лавки ноги не спускай. Ни во сне, ни наяву. Что бы ни слышал.

Она повернулась и исчезла в темноте сеней. Без шагов. Верещагин вдруг осознал, что не услышал ни скрипа половиц, ни стука двери.

Под столом шевельнулось. Он опустил взгляд и увидел мальчика лет восьми, сидевшего на полу, поджав ноги к груди и обхватив колени руками. Бледное лицо, огромные тёмные глаза. Мальчик смотрел на Верещагина без страха и без любопытства. Просто смотрел, как смотрят на того, кто уже обречён.

— Это Тимоша, — сказал Лапин. — Племянник. Он у нас… тихий.

— Покажите тело, — сказал Верещагин, поднимаясь из-за стола. — Сейчас.

— Ночью?

— Преступления не ждут рассвета, Сидор Кузьмич. А улики портятся.

Староста посмотрел на него долго, потом кивнул и снял с гвоздя фонарь.

Ледник стоял в дальнем конце двора, врытый в землю, как могила: низкая дверь, три ступени вниз, сруб из почерневших брёвен. Лапин спустился первым и остановился на нижней ступени, не заходя внутрь.

— Дальше сами, ваше благородие. Только вы там… — Он замялся. — Не присаживайтесь. И не вставайте на край. Если надо, стойте посередине, на обеих ногах.

Внутри было холодно по-настоящему, до ломоты в зубах. Пахло опилками, сырой землёй и ещё чем-то сладковатым. Вдоль стен лежали пласты речного льда, переложенные соломой. А на нескольких сдвинутых досках, на ложе из мешковины и льда, лежало тело.

Вокруг досок, по земляному полу, кто-то насыпал кольцо. Верещагин наклонился: соль, смешанная с золой.

Фрол Нечаев был крупным мужчиной лет сорока, с широкими плечами и тяжёлыми ладонями землепашца. Ладони были сложены на груди. Лицо Верещагин рассматривал последним, и именно оно задержало его дольше всего. Староста не соврал: на этом лице не было ни боли, ни ужаса, ни мучительной гримасы. Глаза были открыты, губы приоткрыты, брови чуть приподняты. Выражение человека, которому только что объяснили трудную задачу, и он наконец понял решение. Спокойное, почти благодарное.

Верещагин заставил себя посмотреть ниже.

Штаны были отрезаны чуть ниже колен, ровно, словно по линейке, вместе с плотью. Он достал из сумки лупу и стальной пинцет. Опустился на колено, потом, вспомнив слова старосты, выпрямился и просто наклонился, не касаясь земли.

Срез был сухим. Это он отметил первым. Ни крови, ни сукровицы, ни лоскутов. Кожа, мышцы, сухожилия обрывались единой гладкой плоскостью, не красной, не белой, а тёмно-коричневой, рыхлой, как срез торфяного пласта. Кость уходила в эту плоскость и не заканчивалась, а будто растворялась в ней. А внутри, там, где должен быть костный мозг, Верещагин увидел глину.

Жирную, речную, с мелкими вкраплениями корней.

Он осторожно коснулся её пинцетом.

Металл мгновенно стал таким холодным, что обжёг пальцы. Верещагин выронил его, ругнулся и отдёрнул руку. Пинцет упал на мешковину и зазвенел. Тогда он услышал, как за спиной на ступенях Лапин судорожно втянул воздух.

— Что это? — спросил Верещагин. Голос прозвучал выше, чем он хотел.

— Я не знаю, ваше благородие, — сказал староста. — Вот те крест, не знаю. Но мы все видели, что он ещё тёплый был, когда его привезли. А ноги… — Он сглотнул. — Мишка говорит, что видел, как они уходили в землю. Не отрезались, а будто проваливались. Как в болоте. Сидел Фрол на телеге, а ноги его вдруг стали вдвое длиннее, вытянулись, как тесто, и ушли вглубь. И дальше оборвались.

— Мишка пьян был?

— Мишка с той ночи не пьёт и не спит. Сами посмотрите.

Верещагин поднял пинцет, завернул его в платок и спрятал в сумку, хотя понимал, что ни один эксперт в Самаре не скажет ему, что это за металл теперь. Потом снова посмотрел на ладони Фрола. Они лежали на груди, кисти сжаты в кулаки, и из-под ногтей торчала земля. Тёмная, жирная. Он разжал один кулак.

Внутри, в ладони, была глина. Целая горсть, сжатая так плотно, что пальцы оставили в ней глубокие борозды. Фрол хватался за что-то там, внизу. Или это что-то хваталось за него.

— Он пытался удержаться, — сказал Верещагин вслух. — Значит, чувствовал, что его тянут.

— Да, — сказал Лапин с порога. — Только Мишка клянётся, что Фрол и не дёрнулся. Сидел и смотрел.

Верещагин вышел из ледника с чувством, будто вынырнул из ледяной воды. Только на последней ступени заметил, что всё это время стоял на цыпочках.

У ворот ледника ждал человек в чёрной рясе. Он стоял, не держа ни фонаря, ни свечи, и Верещагин заметил его только когда тот шагнул навстречу.

— Отец Никодим, — представился он. — Здешний приход. Вы, должно быть, следователь.

Священник оказался моложе, чем ожидал Верещагин: лет тридцати пяти, бледный, с острыми скулами и бородой, которую явно ещё не научился отращивать как положено. Руки он держал сцепленными перед собой, и пальцы у него едва заметно подрагивали.

— Читал над ним, — сказал он, кивнув на ледник. — Сорок раз «Богородице Дево». Положено три. Не помогло. Вы заходили, вы видели.

— Я видел тело, — сухо сказал Верещагин. — Остальное будем устанавливать.

— Разумеется. — Никодим не обиделся. — Я не буду вас уговаривать. Скажу только, что я семинарист и в нечистую силу, строго говоря, верю по долгу службы, а не по опыту. Опыт у меня три года, и он мне нравится всё меньше.

— Три года? Вы здесь недавно.

— Прежний священник, отец Гавриил, умер в шестьдесят пятом. Его могилу вы, наверное, видели на погосте, у ограды, с левой стороны. Похоронили его за самой оградой, но слобода не любит об этом говорить. — Он помолчал. — Оставил он после себя тетради. Девять тетрадей. Я прочёл две и перестал.

— Почему?

— Потому что на третьей странице второй тетради он написал, что его собственные ноги ему больше не принадлежат. — Никодим усмехнулся одним краем рта. — Я не нашёл в себе сил проверить, метафора это или нет. Если вас заинтересует, тетради у меня в алтаре, под престолом. Приходите утром. При свете.

— Вы думаете, что в этих тетрадях разгадка?

— Я думаю, что в них хотя бы вопрос поставлен правильно. — Священник перекрестился и посмотрел на землю под ногами, как на воду, в которой нельзя быть уверенным. — Знаете, как называется ваша слобода на самом деле? Не Постниковы Овраги. Это поздняя переделка. Первое её имя было Подпорожье. Те, кто селились здесь первыми, знали, что строят дома над порогом. Над чем-то, что лучше не будить.

— Фольклорные байки, отец Никодим.

— Возможно, — согласился он. — Но байки, ваше благородие, переживают империи именно потому, что кто-то однажды проверил их на собственной шкуре.

Священник ушёл, не прощаясь, и темнота поглотила его раньше, чем затих шорох рясы. Верещагин потребовал показать ему возницу.

Возницу нашли в бане. Он сидел на полке, на самой верхней, подобрав ноги и обхватив их руками, и раскачивался вперёд и назад. Волосы у него, по словам старосты, были чёрные неделю назад. Теперь они были белыми до корней.

— Миша, — сказал Верещагин как мог мягче. — Я из Самары. Расскажи, что ты видел.

— Нельзя, — шепнул Мишка. — Нельзя говорить. Оно слушает.

— Кто?

— Оно слушает по ногам. — Мишка поднял глаза, красные, воспалённые, без ресниц. — Земля же передаёт. Всё слышно. Вы только по земле ходите, и оно уже знает. Знает, кто вы, куда идёте, о чём думаете. Не потому что умное. Потому что оно и есть земля, барин. Оно под нами. Оно всегда под нами.

Верещагин взглянул на старосту. Тот отвёл глаза.

— Он всё время так, — сказал Лапин. — Мы ему на лавку постелили, а он не спускается. Говорит, на лавке тоже нельзя, а можно только на печи, где ноги высоко.

— Миша, — повторил Верещагин. — Ты видел, кто его убил?

Мишка засмеялся. Смех был тихим, чем-то похожим на кашель.

— Убил? — сказал он. — Его никто не убивал, барин. Его качнули. Просто качнули. Качели не убивают. Качели просто раскачиваются, пока не сорвутся.

Он опустил голову на колени и больше не произнёс ни слова.

Гостевая горница была тёплой и пахла сухими травами. Лавка у стены, застеленная овчиной. Окно со ставнями. В углу образа с крохотной лампадой, и по стенам, Верещагин заметил, висели пучки полыни, чертополоха, чего-то серого и колючего. Они были развешаны не как украшение, а как оборона.

Он снял сюртук, но сапог не снял. Из упрямства.

Перед тем как лечь, Верещагин всё-таки сел за стол и вынул записную книжку. Он писал привычно, крупным разборчивым почерком, как учили в училище правоведения, нумеруя пункты:

Фрол Нечаев, 40 лет, крестьянин. Смерть примерно семь дней назад, на телеге в овраге. Свидетель один (М.), в состоянии нервного расстройства.

Ампутация обеих голеней. Орудие не установлено. Срез необычный: сухой, с глиняным заполнением. Возможно, посмертная имитация? Кем? Зачем?

Прежний случай: пастух Сорокин, год назад. Дело закрыто как «медведь». Источник: Крюков (устно).

Землемер, весной. Пропал. Источник: Крюков.

Население практикует обряды (скамейка, пучки трав, запрет на положение «нога на ногу»). Вероятно, коллективная истерия на фоне реального преступления.

Священник Никодим предлагает дневники предшественника. Проверить.

Он остановился, чиркнул пером и дописал, помедлив:

Возможно, убийца находится среди жителей слободы и использует суеверия как прикрытие.

Перо дрогнуло. Верещагин уставился на седьмой пункт и вдруг ясно понял, что не верит в него. Не потому, что не мог, а потому что слишком хотел верить. Он закрыл книжку, задул свечу, оставил гореть только лампадку и лёг, подтянув колени и накрывшись шинелью до подбородка, по-детски, как не ложился с шести лет.

Сапоги он по-прежнему не снял. Он, впрочем, уже не был уверен, что они его защищают.

Усталость легла на веки, как мокрое сукно. Он провалился в сон почти сразу.

Разбудил его звук. Не скрип, нет. Другой. Тихий, влажный, как если бы кто-то медленно тянул мокрую верёвку по доскам. Звук шёл из-под пола. Из-под самой лавки.

Верещагин лежал не шевелясь. Сердце колотилось. В темноте горницы теплилась лампадка, и в её красном свете он видел, что одна его нога, правая, во сне соскользнула с лавки и свисала вниз, чуть выше пола. Сапог на ней слегка покачивался.

Он хотел подтянуть её. Не смог. Тело не слушалось, как бывает в кошмарах.

Скрип вернулся. Равномерный, неспешный. Теперь уже совсем рядом, прямо под ним. И сапог на свисающей ноге качнулся сам. Раз. Другой. В такт.

Чьи-то пальцы коснулись пятки.

Они были ледяными. Тонкими, слишком длинными, и их было больше, чем должно быть у человека. Они обхватили сапог осторожно, почти ласково, и потянули вниз. Не сильно. Пробуя. Как пробуют, крепко ли сидит гвоздь.

Верещагин закричал. Звук получился сиплым, задушенным. Усилием, от которого свело всё тело, он рванул ногу на лавку, прижал колени к груди и оказался сидящим, прижавшимся спиной к стене, с дикими глазами и мокрой от пота рубахой. Внизу, под полом, что-то глухо стукнуло. Раз. Два. Три.

Потом тишина.

Он просидел так до рассвета. Не спал, не шевелился, смотрел на лампадку. Сапог, когда он наконец решился снять его, оказался влажным изнутри. И на голенище, там, где пальцы держали кожу, остались три тонких белых полосы, как от зубов.

Утром, когда серый свет только сочился сквозь щели ставней, во дворе закричала женщина. Потом ещё одна. Потом забили в чугунную доску, как бьют на пожар.

Верещагин натянул сюртук и вышел босиком, с сапогами в руке, не успев подумать, зачем. Лапин стоял у ворот с серым, как зола, лицом.

— Второй, — сказал староста. — Ваше благородие, второй.

Глава 2. Второй

Избу Рябовых, крайнюю в ряду, окружили плотным кольцом, и кольцо это молчало.

Верещагин знал деревенскую беду: она всегда шумная. Бабы голосят, мужики спорят, каждый норовит сунуть следователю в руки свою догадку и чужой грех. Здесь не говорил никто. Мужики стояли с непокрытыми головами, бабы прижимали к груди платки, а дети, которых в другое время не удержать, сидели у отцов на плечах, поджав ноги к самому животу.

Толпа расступилась перед старостой, затем перед следователем, и Верещагин почувствовал на себе десятки взглядов. Смотрели не в лицо. Смотрели вниз, на его босые ступни и на сапоги, которые он всё ещё нёс за голенища, как выловленную рыбу.

— Пробовало, — сказал кто-то в задних рядах так тихо, что слово едва долетело.

— Пробовало, — отозвались слева. И ещё раз, справа.

Лапин обернулся и рявкнул, чтобы замолчали. Замолчали. Но Верещагин успел понять: любой из этих людей видит на его сапогах то же, что видел он сам, три тонкие белые борозды на коже.

Он остановился, натянул сапоги прямо на босую ногу, не глядя ни на кого, и шагнул вперёд.

Степан Рябов сидел на пороге собственной избы.

Дверь была распахнута настежь. Порог в этом доме был широким, из цельной дубовой плахи, вытертой поколениями подошв до тёмного глянца. Парень сидел на самом его краю, спиной к сеням, лицом ко двору, чуть склонив голову набок, как слушают далёкую песню. Рубаха на нём была чистая, праздничная, с красной вышивкой по вороту. Руки лежали на коленях. А ниже колен…

Верещагин видел Фрола в леднике и думал, что готов. Он ошибся.

Фрола привезли уже бескровным, застывшим, прибранным. Здесь всё было живое. Обрубки свисали с края порога так, как свисают с края стола ноги усевшегося ребёнка, и срез был тот же: ровный, тёмный, как торфяной пласт. Но кровь… Кровь была. Много, яркая, свежая. Она не растекалась по двору и не уходила в утоптанную землю. Она стекала по обрубкам тонкими ровными струйками и пропадала в узкой щели между плахой и грунтом. Верещагин присел, не касаясь земли, и убедился в том, чего боялся: щель дышала. Кровь в ней вздрагивала, колебалась и втягивалась вглубь короткими толчками, как жидкость в горло.

Он заставил себя посмотреть на лицо. Степан улыбался. Не гримасой, а по-настоящему, широко, по-мальчишески. Глаза его, открытые и ясные, были обращены на восток, где за дальним лесом только занимался рассвет. Ему было лет девятнадцать. На щеке ещё не сошёл след от недавнего прыща.

— Кто нашёл? — спросил Верещагин, не отрывая глаз от лица. Голос вышел чужой.

— Мать, — сказал Лапин. — Матрёна. Встала корову доить, а он на пороге. Она его за плечо тронула, а он… Не упал. Сидит. Ему, видите, и падать-то нечем. Вы бы сами с ней поговорили, только она сейчас… Ну, сами увидите.

Матрёна сидела в сенях, на земляном полу, привалившись к стене, в трёх шагах от порога и от тела сына. Она не плакала. Она медленно раскачивалась взад-вперёд и перебирала пальцами подол, как перебирают чётки. Рядом на коленях стояла соседка и держала её за запястье, будто не пускала.

Верещагин опустился перед женщиной на корточки, подобрав ноги под себя (он уже ловил себя на этом), и заговорил негромко, как умел говорить с теми, кто потерял всё:

— Матрёна Власьевна, я следователь из Самары. Я не стану вас долго мучить. Расскажите только, что вы слышали ночью.

Женщина подняла на него глаза. Они были сухие и огромные, как у птицы.

— Он вышел покурить, — сказала она. — Часу в третьем. Я слышала, как дверь скрипнула. Подумала: опять не спит, всё про свою Дуньку, про сватовство. Лежала. Слушала. Потом он засмеялся.

— Засмеялся?

— Тихонько. Как будто ему кто-то на ухо сказал. Я хотела окликнуть. — Она облизнула губы. — Не окликнула. Мать ведь не знает, что надо окликнуть. Она думает: парню двадцатый год, пускай посидит. А потом он сказал. Громко, ясно, на всю избу, как будто мне в самое ухо: «Мам, там тепло».

— Там?

— Я решила, про печь. Что на пороге нагрелось. — Матрёна качнулась. — А утром вышла, а у него ног нет. Они ушли. Ушли в тепло. Он же сам хотел, чтоб ему было тепло, барин…

Она замолчала на полуслове, словно кто-то выдернул из неё нитку, и больше не говорила. Соседка, глядя на Верещагина, мелко закачала головой: хватит, не трогай.

Он встал. Колени дрожали, и, чтобы скрыть это, он отошёл к краю двора, туда, где у плетня на корточках сидел Тимоша. Мальчик поджал ноги так плотно, что стал похож на узелок. Он смотрел не на тело. Он смотрел на порог. И когда Верещагин поймал его взгляд, мальчик очень медленно, очень серьёзно прижал палец к губам.

Верещагин прислонился к плетню и заставил себя думать.

Голод. Прошлое лето было неурожайным, это он знал из бумаг. Рожь в сырой год бывает поражена спорыньёй. Злая корча, как называют её лекари. Он читал о ней в Саратове: отравленные зерном люди видят то, чего нет, слышат голоса, чувствуют жар в конечностях, а в тяжёлых случаях у них отмирают пальцы и ступни, чернеют и отваливаются. Целые деревни сходили с ума от одного куска ржаного хлеба. Коллективное помрачение. Ноги отмирают, боли нет, человек бредит.

Это объясняло многое. Скрип, шёпот, пальцы под лавкой, сапог, который будто бы качался сам. Хлеб, хозяйские щи, вода из колодца: любое из этого могло быть отравлено.

Оно не объясняло только одного. Спорынья не срезает ноги за одну ночь. И не гонит кровь в землю толчками, как насос.

Он достал записную книжку, написал «спорынья?» и тут же перечеркнул. Потом, подумав, вписал обратно и приписал сверху: «Нужен врач». И понял, что пишет это лишь затем, чтобы к вечеру у него остался документ, в котором есть хоть одно рациональное слово.

Дуню Белову привели к нему, пока Лапин собирал мужиков. Ей было семнадцать, она всё время теребила кончик косы и не поднимала глаз.

— Степан к тебе сватался?

— Сватался. Тятя отказал. Он ведь, ваше благородие, по пристаням ходил, в Самаре два года, с шабашниками. Грузчиком. Вернулся летом совсем другим. Смеялся над всем. Над приметами, над порядками. Говорил: «В Самаре никто на пороге не крестится, и никто не помер».

— Он нарушал правила нарочно?

— Не то чтобы… — Дуня задумалась. — Он будто проверял. Раз сел на порог с утра, нога на ногу, и сказал мне: смотри, ничего. Я заплакала, а он смеялся. А на прошлой неделе, как Фрол помер, он сказал: «Вот дураки, из-за трёх старух с ума сошли». И сказал ещё: «Я им докажу». Вчера вечером говорит мне: «Завтра приходи, увидишь».

— Что увидишь?

— Не знаю. — Она наконец подняла глаза. Они были красные, но сухие, как у матери. — Он не хотел умирать, барин. Он хотел, чтоб все увидели, что можно жить иначе.

Верещагин отпустил её и долго стоял, глядя на тело. Мальчишка проверял на себе то, что взрослые принимали на веру. И проверил.

Солнце поднялось уже высоко, когда он вернулся к порогу.

— Сидор Кузьмич, — сказал он. — Мне нужно поднять эту плаху.

Староста посмотрел на него так, будто следователь предложил вскрыть алтарь.

— Нельзя, ваше благородие.

— Кровь уходит под порог. Если там что-то есть, улика, орудие, чьё-то лежбище, мне всё равно, я обязан это видеть. Это единственное место во всей слободе, куда она стекает.

— Нельзя. Порог не наш. Мы его не ставили.

— Что значит «не наш»?

Лапин сглотнул.

— Избы здесь ставились на старых венцах. Дубовые плахи оттуда, от первопоселенцев. Их не меняют. Если порог гниёт, чинят сверху, а саму плаху не трогают. Деды говорили, что она держит.

— Что держит?

— То, что под ней.

Верещагин смотрел на него долго.

— Сидор Кузьмич, — сказал он наконец. — За неделю двое убитых. Если вы мне сейчас не поможете, я пошлю в Самару за жандармами, и они поднимут эту плаху вместе с вашей слободой. Я не угрожаю. Я предупреждаю, что другого пути у меня нет.

Лапин молчал. Потом перекрестился, снял шапку, повернулся к сыновьям, стоявшим у плетня.

— Лом несите. И верёвки.

Никто не двинулся. Толпа шевельнулась, как шевелится трава перед ветром, и по ней прошёл такой низкий густой ропот, что Верещагин невольно напрягся.

— Мы не станем, — сказал старший, Фёдор. — Хоть убейте, батя. Не будем.

— Тогда я, — сказал Лапин. И Верещагин впервые увидел, как этот коренастый человек старится на глазах. — Мне давно пора. Если кому суждено, пусть буду я.

Они вдвоём, староста и следователь, подвели лом под край плахи. Дерево не поддавалось. Оно будто вросло в землю десятками корней. Верещагин навалился всем весом, Лапин рядом, и в тот миг, когда сопротивление сменилось податливостью, раздался звук, которого Верещагин не забудет до конца своих дней. Не треск и не скрежет. Влажный, чавкающий вздох, какой издаёт рана, когда из неё вынимают нож.

Плаха поднялась.

Под ней не было земли.

Открылась полость, широкая, как могила, уходящая вглубь. Стенки её были выложены гладкой красной глиной, влажной и блестящей, и от неё шёл тёплый парной воздух. Пахло железом, прелыми листьями и сладковатой гнилью. На дне, в полутьме, стояла густая тёмная кровь, та самая, что стекала с ног Степана. Она не стояла неподвижно. Она медленно, ритмично колыхалась, поднимаясь и опускаясь, как грудь спящего.

Лапин отшатнулся и упал на колени. Мужики за спиной у Верещагина разом ахнули и подались назад. Какая-то баба завыла, длинно, на одной ноте.

— Господи Иисусе, — прошептал староста. — Дышит.

Верещагин хотел что-то сказать, найти слово, которое вернёт порядок, и не нашёл. Он лёг на живот, подтянув ноги, чтобы они не коснулись края, и заглянул вниз.

Глубже в стене, на уровне его глаз, из красной глины торчало что-то тусклое, металлическое. Звено. Овальное, в шероховатой ржавой окалине. Рядом ещё одно, и ещё: тонкая цепь, уходящая в глину, как жила в мясо.

Мерная цепь. Он узнал её сразу: землемерная, десятисаженная, с медными бирками. Такой цепью измеряют землю на межевании. Он видел её тысячу раз и ни разу не подумал, что она может быть страшной.

— Землемер, — сказал он вслух. — Он был здесь.

— Нет, — сказал голос за спиной. — Он здесь есть.

Агафья стояла в двух шагах. Он не слышал, как она подошла. Платок был так же низко надвинут, белые глаза смотрели не в яму, а на Верещагина, и в её лице было что-то, что он назвал бы жалостью, если бы не знал, что с такой жалостью смотрят на мертвеца.

— Положи плаху обратно, барин, — сказала она. — Пока оно спит.

— Кто там? Что там?

— Ничего. Всё. Порог. — Она махнула рукой, коротко, как отгоняют муху. — Положи. Пока светло. Ночью оно проснётся, и ты сам придёшь к нему просить, чтоб взяло.

— Я обязан…

— Ты обязан жить. — Голос её не поднялся, но все во дворе опустили головы. — Они не убивают, потому что злые. Они едят, потому что голодные. А голодными их делаем мы, когда сидим как вздумается. Закрой яму.

Верещагин не послушался. Это было глупо, он понимал это уже тогда, но упрямство бывает сильнее разума. Он протянул руку и ухватился за звено. Металл оказался не холодным, а тёплым, как бок живого зверя.

— Не надо, — сказала Агафья тихо.

Он потянул. Цепь подалась на пол-аршина, неохотно, будто на другом её конце, внизу, кто-то держал. Он потянул сильнее. Звенья побежали сквозь ладонь, шершавые, влажные, красные от глины, и вдруг остановились.

Туго.

Он ждал, что цепь зацепилась за корень. Но она не зацепилась. Она натянулась, как натягивается леса, когда на другом конце рыба. А потом через звенья, через ладонь, через плечо прошёл короткий, мягкий, почти ласковый рывок. Один. Затем другой. Так подают знак звонарю: мы здесь, мы слышим, тяни ещё.

Верещагин разжал руку. Цепь медленно, как змея, ушла в красную глину, оставив на его ладони тонкий ровный ожог в форме звеньев.

Тимоша, всё это время сидевший у плетня, тихо произнёс:

— Он вас запомнил.

Это был первый раз за всю осень, когда кто-то в слободе услышал голос мальчика.

Глава 3. Первые правила

Плаху вернули на место к полудню.

Сделали это Лапин и двое его сыновей, и не потому, что решились, а потому, что Агафья сказала старшему всего три слова: «Фёдор, ты же мужик». Фёдор, который час назад клялся, что хоть убейте, молча взялся за лом. Верещагин смотрел на это и отмечал, что старуха ни разу не повысила голоса, а подчинялись ей быстрее, чем исправнику.

Когда плаха легла, Агафья вбила в щель три железных гвоздя, воткнула рядом рябиновый колышек и насыпала сверху горсть соли. Работала она медленно, не поднимаясь с корточек, и всё время держала ноги подобранными под себя так плотно, что юбка натягивалась на коленях.

Кровь остановилась в ту же минуту. Верещагин видел это своими глазами: только что она сочилась из обрубков Степана тонкими струйками, а потом струйки вздрогнули, замедлились и замерли, будто кто-то внизу выпустил из рук вожжи. Обрубки на глазах потемнели и затвердели, и срез стал похож на спил старого корня.

Тело перенесли в сени. Матрёну никто не уводил, но и не держал: она села рядом, взяла сына за руку и больше не выпускала.

Верещагин промыл ладонь в бадье у колодца. Ожог не смывался. Тонкая красная лента обвивала ладонь по самому краю, и в ней отчётливо угадывались звенья, как оттиск на сургуче. Боли не было. Он подумал, что это хуже, чем если бы болело.

Он ещё тёр ладонь, когда понял, что у колодца не один.

Три бабы, пришедшие за водой с коромыслами, остановились поодаль и делали вид, что заняты вёдрами. Одна, дородная, в клетчатой паневе, всё же не выдержала. Верещагин слышал, как она шепчется с товарками, и шёпот этот, как водится в деревне, был рассчитан на то, чтобы его услышали.

— …сапоги показывал. Белые полосы. Три.

— Три? Господи, не к добру. Три зуба. У Сорокина-то, пастуха, помнишь, на лбу следы были? Тоже три.

— Типун тебе. Сорокина медведь.

— Медведь. — Третья, молодая, с запавшими глазами и младенцем, привязанным платком к груди, горько усмехнулась. — Медведь, Устиньюшка, мужиков в овраге рядком не складывает и ножки не отъедает по линейке. Все наши знают. Только вслух не говорят.

Верещагин не обернулся. Он давно усвоил: чтобы деревня заговорила, надо перестать на неё смотреть.

— Не в этот год оно началось, — сказала дородная, понизив голос. — Мать моя рассказывала: в тридцать восьмом тоже было. Три дома за осень. А до того, при её бабке, говорят, целая улица «села».

— Села, — повторила Устинья и перекрестилась.

— А отец Гавриил… Вот кто знал. Он в церкви пол вскрывать начал. Месяц вскрывал, ночами, один. Говорили, ищет. А как нашёл, его на другой день под алтарём обнаружили. Сидит на ступеньке, ноги вытянул. А ног-то нет, бабоньки. На месте ног корни. Белые, тонкие, как у репы, и прямо в каменный пол ушли. Топором рубили, а не рубятся: мягкие, и лезвие вязнет. Так и вырубали вместе с плитой. А как вынесли на двор, корни те на воздухе дёрнулись и запищали.

— Запищали?

— Как мыши. Тонко.

— Потому и не в ограде, — шепнула молодая. — Потому и без креста. Чтоб корни за ограду не вышли.

Устинья быстро-быстро закрестилась.

— А землемер? Чужой, из немцев. Всё ходил, цепью мерил, всё про порог спрашивал. Сказывал, у Лапина под порогом шестом щупал, а дна нет. Сорок сажен пустоты. А потом пропал. Говорят, на выселки ночью пошёл, один. Лошадь вернулась, а в стременах красная глина, до самых колен.

Молодая вдруг обернулась и посмотрела через плечо на двор Лапина.

— А мальчонка у старосты? — Она понизила голос ещё больше и невольно прикрыла ладонью спящего на груди ребёнка. — Тимоша. Он ведь Лапину и не племянник вовсе.

— Тише ты.

— Приблудный. В позапрошлом году на дороге нашёл. Голый, тощий, как ободранная кошка, шёл от оврага. Лапин взял, по-людски. А как мыть понесли, Дарья-то, жена его, как глянула на ножки… — Она замолчала.

— Что на ножки?

— Пятками вперёд. Пятками вперёд, а пальцами назад. Он идёт к тебе, а следы от тебя. Потому и сидит всегда поджавшись, потому и молчит: понимает, что не наш. Агафья сказала: не трогать, не гнать. Он, говорит, нам не враг. Он, говорит, оттуда, где понимают.

— Параскева, — раздалось от ворот. — Язык бы тебе отрезать.

Староста подошёл так тихо, что Верещагин не услышал шагов. Бабы исчезли, будто их и не было, оставив у колодца лишь пустое ведро, которое ещё качалось на цепи ворота.

— Где живёт Агафья? — спросил он Лапина.

Староста отвёл глаза.

— На отшибе, за погостом. Только вы, ваше благородие… Заходите по её правилам. Она вам скажет.

Дорога к дому знахарки шла через погост, и Верещагин впервые рассмотрел его при дневном свете. Кресты стояли скученно, косо, как зубы в больном рту. У ограды слева, вне её, чернел одинокий холм без креста, поросший жёсткой бурой травой. Могила отца Гавриила. Верещагин замедлил шаг.

Он прошёл ещё несколько шагов и остановился, услышав скрежет лопаты.

Старик Прокоп, могильщик, копал на дальнем краю погоста, там, где кончались последние кресты и начинался бурьян. Яма получалась узкая, по пояс взрослому, и Верещагин сперва принял её за детскую.

— Для Рябова? — спросил он.

— Для Рябова, — подтвердил старик, не поднимая головы. — Только не здесь. — Он выпрямился и потёр поясницу. У него было лицо, обтёсанное десятилетиями ветра, и спокойные глаза человека, давно разучившегося удивляться. — Это для порядка. Чтобы мать видела, что яму копают. А класть будем у них, под порог.

— Под какой порог?

— Свой, барин. — Прокоп говорил охотно, без нажима, как говорят о ремесле. — Кого оно взяло, того на погост нельзя. Он уже не наш, а не ихний тоже, где-то посередине. Положишь в освящённую землю, она не примет, выпихнет. Я видел такое: в апреле выпихнуло, наверх вышел. А положишь под порог, дома лежит, и оно, значит, не голодное. Другим качаться не будет.

Верещагин почувствовал, как у него холодеют пальцы.

— Вы хотите сказать, что покойников хоронят под порогом избы, в которой живут?

— Так спокойнее всем. И ему, и им.

— Это незаконно.

— Закон далеко, барин. А порог рядом.

Он воткнул лопату в землю и вытер руки о штаны.

— Фрола вашего, как отпустите, тоже под его порог. Только вы не мешайте. Вы мёртвых не знаете, а они вас знают. А Сорокина-то пастуха нам положить было некуда: у него порога

не было, он по чужим углам жил. Мы его в овраге и оставили. Оттого, думаю, оно и не успокоилось. Год прошёл, и вот.

— А что ещё лежит под порогами? — спросил Верещагин, и голос его не сразу стал ровным.

Прокоп посмотрел на него долго, словно решая, взрослый ли перед ним человек.

— Младенцы, барин. Некрещёные. Кто помер до крещения, тех Агафья велит туда же. Я им ямки рою, махонькие, как для кошки. В пяти избах из десяти под порогом колыбелька, а в колыбельке… — Он перекрестился. — А как иначе? Дом ставят не пустым. Первым жильцом кладут. Так деды ставили. Курицу, потом барана, потом, когда дом на оврагах, и человека. Тогда порог держит. Только забыли уж, кого первого положили. Я не знаю. И бабка моя не знала.

Верещагин смотрел на узкую яму, в которую никого не положат, и ему стало ясно, что каждый порог в этой слободе чей-то склеп. Он вспомнил, что утром, выходя из старостиной избы, переступил порог, не глядя, и что плаха под его сапогом чуть-чуть, как ему тогда показалось, прогнулась.

Изба Агафьи стояла у самой кромки леса, низкая, вросшая в землю по окна. Крыша поросла мхом. И порог у неё был такой, что Верещагин остановился шагов за десять.

Порога не было. На его месте в землю были вбиты ножи: десятки, сотни ножей, косарей, серпов, ржавых лезвий, воткнутых остриём вверх так густо, что получилась щетинистая полоса шириной в аршин. Железо потемнело и поросло рыжей коркой. Издали это походило на бурую траву.

— Левой, — сказал голос из дверного проёма. — И не по ножам. Они не для тебя. Видишь тропку из плиток? Ставь ногу на плитки, на каждую по разу, не задерживаясь. Потом внутрь и не оглядывайся.

Он поставил. Три плитки, чуть присыпанные землёй. Левая, правая, левая. Внутрь. Воздух в избе был густой и тёплый, пах сушёной ромашкой, дёгтем и чем-то кислым, молочным.

Агафья сидела на полу.

Не на лавке, не на табурете, а прямо на земляном полу, поджав ноги, и в этой позе было столько привычной, десятилетиями отработанной осторожности, что Верещагин понял: она не садилась на высокое с тех пор, как стала взрослой. По стенам на верёвках висели пелёнки, десятки пелёнок, выбеленных и серых, штопаных и новых, как бельё на ветру. Сколько детей она приняла, подумал он. Сколько из них умерло.

— Садись, — сказала она. — Вон на чурбак.

— Я постою.

— Тогда будешь стоять не так, как нужно. — Она кивнула на низкий чурбак у печи. — Этот можно. Он не высокий. Ноги ставь обе, ровно. Не на цыпочки. Не пяткой вперёд.

Он сел. Подчинение раздражало его, и он решил не показывать этого.

— Агафья…

— Ефимовна.

— Агафья Ефимовна. Я хочу понять. Не как следователь, а как человек, который за сутки увидел то, чего видеть не должен. Вы знаете, что происходит. Объясните мне. Без недомолвок.

Она долго смотрела на него белыми глазами, и ему показалось, что она видит не его, а что-то ниже и дальше.

— Объяснить можно, — сказала она. — Слушаться труднее. Правил немного. Запомнишь, будешь жить. Забудешь, не мне тебя хоронить.

— Первое правило: ногами не болтать.

Верещагин невольно усмехнулся.

— «Не болтай ногами, чертей качаешь». Это же с детства говорят. Моя нянька так говорила.

— Твоя нянька была умная. — Агафья не улыбнулась. — Это не присказка, барин. Это самое первое правило, потому оно и живёт в каждой семье, даже там, где давно забыли зачем. Свисающая нога раскачивается. Она как качели. А под тем, что свисает, всегда что-то есть: вода, земля, пустота, порог. Оно чует ритм. Оно любит ритм. Ты качнул раз, оно отозвалось. Качнул другой, оно качнулось сильнее. И так до тех пор, пока вы не раскачаетесь вместе. А тогда ему легко дотянуться.

— Кому «ему»?

— Не перебивай. — Она подняла сухой палец. — Второе. Нога на ногу не кладётся. Так получается петля, а за петлю зацепить проще всего. Третье: обуваешься с правой, разуваешься в обратном порядке. С правой ты входишь в день, с левой выходишь. Сделаешь наоборот, оно решит, что ты уже наполовину с той стороны. Четвёртое: на пороге не стоять, не сидеть, не здороваться и не разговаривать. Порог — это «между», а в «между» нельзя никому, ни живому, ни мёртвому. Пятое: спать ногами к двери нельзя. Так кладут покойников. Шестое: ночью ног из-под одеяла не выпускать. Седьмое: младенцу до года держат пятки в ладони. Вот так.

Она обхватила воздух ладонью, нежно и крепко, и Верещагин вспомнил бабу у печи в старостиной избе.

— Чтоб не отдать, — сказала Агафья. — Они у новорождённых тёплые, а тёплое оно любит.

Он слушал и не записывал. Привычка и профессиональное недоверие боролись в нём. Наконец он сказал:

— Агафья Ефимовна, я не хочу вас обидеть. Все эти приметы мне знакомы. Я слышал их в Саратове, в Тамбове, в Казани. Они есть везде. Но везде люди живут, ходят по порогам, сидят нога на ногу, и никто не умирает. Почему здесь?

— Потому что везде правила идут от страха, а у нас от опыта. — Она наконец посмотрела на него прямо, и взгляд её был таким тяжёлым, что он не сразу смог его выдержать. — Нечисть, она откуда-то снизу. Что бы ни говорили. Лицо она прикроет, голос подделает, руки сделает человечьи. А ногами выдаст. Копыта, лапы, куриные ножки, хвост. Потому что идёт она снизу, и всё нижнее у неё настоящее. А мы, люди, сверху. Мы стоим на границе. Головой в этой жизни, ногами в той. И чем ты ниже, тем ближе они. Понял?

— Допустим.

— А здесь граница тоньше. Не знаю почему. Бабка моя говорила, что те, кто пришёл сюда первыми, бежали от чего-то и поставили избы на удобном месте. А место оказалось таким, что под ним уже было заселено. Они его кормили и им кормились. Договор какой-то. Потом договор забылся. Остались правила.

— Договор с кем?

— Не знаю. — И тут она впервые сказала что-то совсем по-человечески: — Не знаю, барин. Я пятьдесят лет принимаю тут детей, а что под нами, не знаю.

Она помолчала. Потом нагнулась и начала разматывать тряпки на левой ступне.

— Что вы делаете?

— Показываю. А то ты думаешь, старуха сказки сказывает.

Тряпки были серые, пропитанные чем-то жирным. Под ними оказалась нога, худая, жёлтая, покрытая рубцами. И на этой ноге не было пальцев. Все пять были срезаны у самого основания, гладко, как по линейке, а плоть на срезе потемнела и стала похожа на кору.

— Мне двадцать лет было, — сказала Агафья ровно. — Сенокос. Присела на бережок, ноги в воду. Сестру поддразнила, что мы тут все со своими глупыми «не болтай». Качнула раз. Вода колыхнулась не так. Потом пальцев у меня не стало. Крови почти не вышло, барин. Совсем почти. А другая ступня цела, потому что я успела её под себя. Вот так. Оно взяло за дерзость. Больше не берёт: я теперь умная.

Верещагин молчал. Из всех реакций, которым его учили, ни одна не подходила. Он вспомнил свои пальцы на ногах и понял, что впервые за сутки они у него замёрзли.

— Хочешь убедиться? — спросила она, обматывая ногу. Ответа она не ждала. Встала, неслышно, как умела, принесла из сеней глиняную миску и поставила на земляной пол перед его чурбаком. Миска была полна молока, свежего, ещё тёплого, с лёгкой плёнкой пены.

— Подними левую ногу. Над миской, на ладонь. Качни. Один раз. Тихо.

— Это шарлатанство.

— Тогда не бойся.

Он усмехнулся и подчинился скорее из упрямства, чем из любопытства: поднял ногу, поднёс её к миске так, что носок сапога завис на ладонь от поверхности, и качнул. Раз.

Молоко дрогнуло. Круги пошли от центра к краю, ровные. Он выдохнул.

— Всё в порядке. Обычная вибрация, воздух…

И тут круги пошли обратно.

Не отразились от края, как отражаются волны, не вернулись, а возникли заново, от дна, и побежали вверх, к сапогу. Он увидел это ясно, как в училище правоведения видел таблицы, в которых нужно найти ошибку. Молоко отвечало. Оно отвечало с запозданием на долю секунды, как эхо, как собеседник, который подхватывает твоё последнее слово.

Он замер. Круги прошли ещё три раза, всё слабее, и остановились.

— Теперь качни ещё. Один палец.

— Нет, — сказал Верещагин.

— Вот и умно.

Она накрыла миску тряпкой. Но прежде чем ткань легла сверху, он успел разглядеть на поверхности молока три маленьких углубления в ряд, на расстоянии пальца друг от друга. Как отпечаток чьей-то руки.

Агафья вернулась на пол и опустилась, поджав ноги.

— Вчера оно тебя пробовало, — сказала она. — Не ухватило. Ты сам убрал ногу, даже не понял зачем. Это в тебе такое, что не потеряй. Но запомни: у кого один раз убрал, тому второй раз вопрос задают, а на третий берут.

Уже в дверях, когда он готовился ступить на плитки левой, правой, левой, она окликнула его:

— Рука.

— Что?

— Рука. Дай.

Он вернулся, не вполне понимая, зачем. Агафья взяла его ладонь, повернула к свету и замерла.

Она долго смотрела на красную ленту, обвивающую ладонь. Потом достала из-за пазухи тряпицу с чем-то серым, растёртым в порошок, и приложила к ожогу. Ожог не изменился.

— Откуда это?

— Из ямы. Вы видели. Я потянул цепь.

— Я видела. — Она не выпускала его руки. — Ты знаешь, что это за цепь?

— Землемерная. Мерная.

— Мерная, — повторила Агафья. — Бирки на ней считают сажени. Ею мерят землю и расстояния. — Она подняла на него белые глаза, и в них он впервые увидел страх. Не за себя. — Это не ожог, барин. Это замер. Оно тебя промерило. Теперь оно знает, сколько тебе до порога.

Глава 4. Молчание

От Агафьи он возвращался в сумерках, и слобода за эти часы стала другой.

Он не сразу понял, в чём перемена. Всё стояло на своих местах: избы, плетни, колодезный журавль, чёрная церковь на холме. Но не было звуков. Днём слобода гудела, как любая деревня: перекликались бабы, лязгали вёдра, мычала скотина, где-то стучал топор. Теперь не было ничего. Ни лая, ни мычания, ни шороха соломы на крышах. Он слышал только своё дыхание, а шаги отдавались слишком громко, как в пустом соборе.

С колокольни ударил колокол. Один раз, низко и глухо, словно по крышке гроба.

И слобода села.

Он видел это через окна, затянутые изнутри серой мешковиной. Мешковина просвечивала, и на ней, как на простыне волшебного фонаря, проступали силуэты. Во всех избах разом, будто по команде, люди опускались на пол. Не на лавки, а на пол. Они садились кругом, на корточки или по-турецки, подобрав ноги так, чтобы ни одна ступня не торчала, и замирали. Матери прижимали к себе детей. Мужчины клали руки на колени. Никто не говорил. Никто не шевелился. Свечей не зажигали вовсе.

На порогах стояли чашки с пеплом, и в каждой чашке лежал нож остриём вверх. У печных столбов, как разглядел Верещагин, сидели дети, и у каждого на щиколотке была красная шерстяная нитка, другим концом привязанная к столбу или к запястью матери. Как привязывают телят к колышку, подумал он. Или как привязывают то, что может уйти во сне.

Он шёл по улице, и ему казалось, что на него смотрят. Не из окон, нет. Из-под него. Он старался ступать мягче, и от этого шаги звучали только отчётливее.

У избы Беловых он остановился.

Он не собирался стучать. Просто ноги, как бывает с усталыми людьми, замедлили шаг, и он увидел, что дверь в сенях приоткрыта на ширину ладони. В щели было темно, и в этой темноте кто-то дышал.

Не один человек. Много. Он слушал минуту, другую и понял, что дышат согласованно, все вместе, вдох и выдох, в одном ритме, медленно, как дышит спящий зверь. Дюжина лёгких и одна грудь. Верещагин стоял на нижней ступеньке крыльца и чувствовал, что вот-вот сам начнёт дышать в этот такт.

В щели возникло лицо. Старик, седой, с жёлтыми от табака усами. Белов, отец Дуни. Он смотрел не на Верещагина, а на его ноги, и губы его беззвучно складывали слово. Верещагин не слышал ничего, но прочёл по губам: «Сойди».

— Я хочу только…

Старик прижал палец к губам и резко, очень быстро мотнул головой. Потом показал вниз, на ступеньку, на которой стоял Верещагин. И тот понял: крыльцо. Порог, продолженный наружу.

Он отступил на землю. Старик выдохнул, и вместе с ним, как по сигналу, в темноте за его спиной выдохнули все. В этом выдохе Верещагин с ужасом различил, что глубоко под ним, в земле, откликнулся ещё один: долгий, влажный, довольный.

Дверь тихо закрылась. Дом стих. Они дышали в такт земле. Они научились не нарушать её ритм, как учатся не будить спящего хозяина. Им всю жизнь приходилось дышать за двоих.

Верещагин пошёл дальше, и теперь ему казалось, что он ступает по чьей-то груди.

Пройдя ещё десяток дворов, он увидел, что в избе Рябовых горит огонь.

Единственная лампа на всю слободу. Дверь стояла открытой настежь, как оставили утром, но на пороге, прямо на дубовой плахе, ровным кольцом лежала соль, а поверх соли торчали вбитые в дерево гвозди шляпками наружу. Верещагин остановился у калитки.

В сенях на лавке лежал Степан. Его вымыли и одели в чистую рубаху, руки сложили на груди, и улыбка на его лице никуда не делась. Рядом сидела Матрёна. В руке у неё были большие овечьи ножницы.

Он не сразу понял, что она делает.

Из срезов на коленях мёртвого парня росли нити.

Белые, тонкие, как женский волос, длиной в ладонь, они пробивались из потемневшей плоти густой щёткой и медленно, слепо шевелились, склоняясь к полу. Они тянулись вниз с той же слепой жадностью, с какой тянутся к щели ростки картофеля в погребе. Когда одна из них доставала кончиком до земляного пола, Матрёна щёлкала ножницами, и срезанная нить, упав в стоявшее на полу ведро, коротко дёргалась и скручивалась. Ведро было на треть полно этих нитей. Они ползали друг по другу. Они шуршали.

— Не заходи, барин, — сказала Матрёна, не поднимая головы. Голос у неё был ровный и ласковый, как у человека, который укачивает ребёнка. — Они тебя почуют. Они тёплое любят.

— Матрёна Власьевна…

— Я стригу. Пока стригу, он мой. — Щёлк. Нить упала. — А как не поспею, они в землю уйдут, и он уйдёт с ними. А я не хочу. Он же сам хотел, чтоб все видели. Пусть видят. Пусть смотрят, какой он красивый.

Она наконец подняла лицо. Оно было серым, сухим и странно умиротворённым, а на лбу, под платком, Верещагин разглядел то, чего не заметил утром: тонкую, едва заметную белую прядь, проросшую у неё прямо из виска.

Она проследила за его взглядом и улыбнулась.

— Это я его гладила, — сказала она. — Он и меня потрогал.

Верещагин отступил. Он отступил на два шага, потом ещё на два, и только когда перестал видеть лампу, понял, что всё это время не дышал.

Улица до дома Лапина, он помнил, была шагов в двести. Потом он считал их много раз.

Первые тридцать шагов были как первые тридцать шагов: сапоги хлюпали в раскисшей колее, пахло дымом и мокрой соломой. На тридцать первом он услышал.

Ступ.

Не под сапогом, а чуть позже, и не рядом, а под. Приглушённо, мягко, как будто кто-то очень осторожно ставил ногу на ту же землю, только с другой стороны.

Он остановился. Эхо сделало ещё один шаг и замерло.

Верещагин стоял не двигаясь и слушал, как кровь стучит в ушах. Акустика, сказал он себе. Овраг, пустоты под слободой, подземные ходы, ледниковые ямы. Звук идёт по грунту и отражается. Он пытался вспомнить законы, которым учили в училище, и не вспомнил ни одного.

Он шагнул. Правой.

Ступ.

Левой. Ступ. Эхо отставало ровно на одно мгновение, как молоко в миске у Агафьи. Он ускорил шаг, и эхо ускорилось. Он замедлил шаг, и эхо замедлилось с той же угрюмой покорностью, будто боялось отстать.

Тогда он остановился и, чтобы проверить, подпрыгнул: обеими ногами, тяжело, с оттяжкой. Земля под слободой отозвалась глухим, мясным ударом, а после него, совсем тихо, раздался вздох.

Ему стало по-настоящему страшно, и страх этот был физическим: холодная волна от паха к горлу.

Он пошёл быстрее. Он почти побежал. Шаги и эхо слились в один дробный стук, а потом произошло то, чего он не смог бы объяснить никакой акустикой.

Эхо вышло вперёд.

Он понял это на пятом или шестом шаге. Сначала показалось, потом стало ясно: звук ступни раздавался не после его шага, а до. Он только заносил ногу, а под тем местом, куда она должна была опуститься, уже приглушённо стукало. Как будто кто-то внизу знал, куда он ступит, и подставлял ладонь.

Он замер на одной ноге, с поднятой правой, и боялся её опустить.

Под тем самым местом, где его сапог должен был коснуться земли, что-то ждало. Он слышал это ожидание. Не дыхание, не шорох, а плотную внимательную тишину, какая бывает у охотника над лункой. Если бы он опустил ногу, ладонь приняла бы её, как принимают подаренную вещь.

Левая нога, на которой он стоял, затекала. Пот заливал глаза. Он понимал, что долго так не простоит. И понимал ещё одно, и это было страшнее всего: поднятая нога, повисшая над землёй, качалась. Совсем чуть-чуть, от дрожи. Но качалась.

Качнул раз, оно отозвалось.

Из-под земли донёсся тихий довольный звук, похожий на скрип качелей.

— Не туда, — сказал кто-то совсем рядом.

Верещагин вздрогнул так, что чуть не потерял равновесие. Из тени за плетнём на дорогу вышел Тимоша. Мальчик стоял босой на холодной грязи, в рубашонке до колен, и в свете ущербной луны глаза его казались двумя тёмными колодцами.

— Ногу не ставьте, — сказал он шёпотом. Голос у него был детский и очень спокойный. — Они ждут. Они следят, как вы идёте. Вы идёте, они идут. Вы вперёд, они вперёд. Они не умные. Они только повторяют.

— Тимоша…

— Я иду не так, — сказал мальчик. — Я иду назад. У меня ноги назад. Они не знают, куда меня вести. — Он нагнулся и показал пальцем на грязь. — Смотрите. Ставьте как я. Пяткой вперёд.

В мокрой колее чётко отпечатались его следы. Верещагин, не опуская ноги, разглядел их при луне, и у него встали волосы на затылке. Это были детские ступни, узкие, босые. Но пальцы смотрели не туда, куда шёл мальчик, а назад, туда, откуда он пришёл. Тимоша приближался, а следы его уходили.

— Давайте. Я первый.

Мальчик пошёл прочь по улице мелкими неровными шажками, то припадая, то подпрыгивая, то волоча ногу, и следы его, чёткие, как печать, ложились в грязь один за другим. А под землёй там, где он ступал, не было ничего. Ни эха, ни ожидания. Тишина.

Верещагин опустил ногу в первый след, и ступня его, поставленная пяткой вперёд, с неестественным вывертом, вошла в отпечаток, как в туфлю по размеру. Он шагнул во второй. В третий. Он шёл, как ходят калеки, неловко, и каждый шаг отзывался болью в щиколотках. Но под землёй молчали. Земля слушала и не понимала. Сколько они прошли так, он не знал. Не меньше сотни шагов. На последних он различил за собой движение, тихое, влажное волочение, которое отдалялось в другую сторону, медленно, нерешительно, как собака, потерявшая след.

У ворот старостиного двора Тимоша остановился.

— Они вас не потеряют, — сказал он. — Только запутают. Вы сегодня ночью сидите, а не стойте. И нитку, какую дадут, не снимайте. — Он поднял на Верещагина огромные глаза. — Завтра они будут ближе.

— Кто ты, Тимоша? — спросил Верещагин тихо.

Мальчик долго молчал. Потом ответил так, как отвечают на вопрос, который задавали много раз и на который нет хорошего ответа:

— Тот, кого они не берут.

Он повернулся и ушёл в темноту. Верещагин смотрел ему вслед и видел, что следы мальчика в грязи удаляются от него, но смотрят прямо на него.

Лапины ждали его. Это было видно по тому, как сразу поднялась жена старосты, Дарья, высокая костлявая женщина с лицом, давно потерявшим способность выражать что-либо, кроме тревоги.

— Живой, — сказала она. И не обрадовалась, а констатировала. — Садитесь на пол, барин. Вон туда, к печи. Ногу дайте.

Она опустилась перед ним на колени и привязала ему к левой щиколотке красную шерстяную нитку. Другой конец намотала себе на запястье. Руки у неё были ледяные и сухие.

— Это для чего?

— Чтобы вы не ушли, — сказала она. — Во сне ведь не помнят. Встанут и пойдут. А куда, не спрашивай.

Он сел, подобрав ноги. В избе, в темноте, дышало с десяток людей. Он различал силуэты у стен: Лапин с сыновьями, Дарья, жена Фёдора, прижимавшая к груди младенца и ладонью обхватывавшая его крошечные пятки, и шестнадцатилетняя девка. А у печного столба, на подстилке, поджав колени, спала пятилетняя Нюша, внучка старосты, с красной ниткой на тонкой щиколотке.

В избе, он заметил, был ещё один жилец, которого он сперва принял за груду тряпья.

На печи, на самом верху, у кирпичной трубы, сидел человек. Он был закутан в овчину, и ноги его, обёрнутые в несколько слоёв и перетянутые вожжами крест-накрест, были подтянуты к самому подбородку. Лицо его, морщинистое, жёлтое, как печёное яблоко, казалось лицом девяностолетнего старика. Он смотрел на Верещагина двумя водянисто-голубыми глазами и, кажется, не мигал.

— Ермил, — сказал Лапин вполголоса. — Брат мой, младший. Ему сорок четыре. С печи не слезал с тридцать восьмого года.

— Ни разу?

— Ни разу. Ест на печи. Спит на печи. Отправляет… — Староста замялся. — Не спрашивайте.

Ермил беззвучно пошевелил губами. Потом поманил Верещагина пальцем, сухим, как веточка, и, когда следователь подошёл к печи, зашептал. Шёпот был таким тихим, что приходилось почти прижиматься ухом к его губам. От старика пахло мышами и сухим мёдом.

— Тебе, сынок, ходить нельзя было. А ты ходил. Слышу по шагам.

— Вы слышите шаги?

— Я их тридцать лет только и слышу. Ночью в слободе ни звука, и по шагам знаю, чьи идут. Твои вот чужие. Они чужие любят. Они чужих берут в первую очередь.

Верещагин сглотнул.

— Расскажите мне про тридцать восьмой, — попросил он.

Ермил долго молчал. Лапин, стоявший рядом, тихо, но твёрдо сказал: «Ермил, не надо». Старик не обратил внимания.

— Мне было четырнадцать, — сказал он. — Как раз Покров. Наши парни, старшие, собрались на посиделки. Тринадцать их было, все с одной улицы. Сели на плетень у Мельниковых песни петь. Ногами болтали. Ногами, сынок, болтали. Гармошка играла. Я с ними хотел, мать не пустила: у меня жар был. Лежал вот на этой печи и слушал.

— И?

— И они пели. Хорошо пели. А потом стали петь тише. Потом ещё тише. Потом гармошка встала. А потом я услышал, как плетень начал скрипеть. Сначала тихо: раз, два, три. Потом ровно, как качели. Они качали плетень ногами, а плетень качался под ними, и ещё кто-то под плетнём качал их. В такт. И они засмеялись. Все тринадцать. Я никогда не слышал такого смеха: радостного, как у детей, и лишнего.

Он помолчал. Из печи пахнуло теплом и пылью.

— Утром мы вышли. Плетень стоял ровный, ни одной жерди не сломано. А на нём в ряд стояли сапоги. Тринадцать пар. В сапогах были ноги. До колен. Чистые, ровные, срезанные будто ножом. Ноги стояли на жердях, как стоят на ступеньках. А выше ничего. И крови нигде, только земля под плетнём была красной, как свежая глина, на аршин вглубь. Мать рассказывала, что подошла и села перед плетнём на колени и всё утро смотрела, и ей казалось, что сапоги шевелятся. Чуть-чуть. Покачиваются. Как будто ноги в них ещё смеются.

Верещагин почувствовал, как по спине ползёт холодный пот.

— Кто остановил? — спросил он.

— Поп. Не нынешний, тот, что до Гавриила. Отец Мефодий. В тот же Покров, когда служба кончилась, он вышел из алтаря и лёг на порог церкви. Лёг ничком, головой к двери. И сказал: пройдите по мне. И все прошли. Все, сынок. Я тоже. Я ступил ему на спину, и она была мягкая. Как хлеб. — Старик шумно задышал. — А наутро он лежал там, и под ним не было земли. Была яма. А в яме он лежал, как в люльке. И закрылось. Три дня тишина, потом уже тихо стало совсем.

— Что закрылось?

— Дверь, — сказал Ермил. — Дверь закрылась, сынок. Он нас закрыл. На тридцать лет, а нынче срок. Ты, значит, по сроку. Ты, значит, новый.

— Новый кто?

Но старик уже отвернулся, спрятав лицо в овчину, и больше не сказал ни слова. Верещагин подождал минуту, потом ещё. Под овчиной и вожжами ног не было видно, но ему показалось, что одна из них слегка, едва заметно подрагивает, как подрагивает во сне собачья лапа.

Лапин взял его за локоть.

— Он всегда так, — сказал староста. — Скажет и уснёт. А утром не помнит.

Он думал, что не заснёт. Он заснул мгновенно, провалился, как в колодец, и очнулся оттого, что нитка на его ноге дёрнулась.

Нет. Не его. Нитка Нюши.

Он увидел это в слабом свете луны, пробивавшемся сквозь мешковину. Девочка стояла. Она стояла посреди избы, босая, с закрытыми глазами, и тонкая красная нить тянулась от её щиколотки к столбу, натянутая, как струна. Девочка шла к двери. Нитка не пускала. Девочка тянула её, нитка гудела, и Нюша всё равно шла, переступая тонкими ножками в такт какому-то неслышному ритму, медленно, неотвратимо, как идут по привычной тропе. Руки её висели вдоль тела. Нитка врезалась в кожу.

Рядом с Верещагиным шевельнулась Дарья. Он услышал, как она, не дыша, поднимается с пола, но девочка была уже у порога, и нитки не хватило, и Нюша с хрипом, как бьётся рыба на крючке, села. Села на порог, лицом к двору, спустив ножки за край плахи.

— Нюша, — прошептала Дарья. — Нюшенька.

Девочка улыбнулась во сне. И заговорила.

Это был не её голос. Это был голос взрослого парня, хрипловатый, ломающийся, весёлый. Верещагин никогда его не слышал, но узнал сразу, потому что за целый день успел мысленно услышать его сто раз, в пересказе матери.

— Мам, — сказал голос из детского рта. — Мам, там тепло.

Дарья метнулась вперёд. Она схватила внучку за щиколотки обеими руками, обхватила, как хватают горячее, вжала в ладони пятки и дёрнула назад. Нюша обмякла, захныкала по-детски и открыла глаза. Мужчины уже были на ногах. Фёдор подхватил девочку на руки. Старик Лапин отступил к иконе и громко, нестройно запел «Да воскреснет Бог». А Верещагин сидел на полу и смотрел на порог.

Плаха слегка вздымалась и опадала. Как грудь.

И тогда из-под пола, из-под самых досок, из-под того места, где он сидел, донёсся голос. Уже не детский и не юношеский, а ровный, безликий, как у человека, читающего вслух по бумаге. Он считал.

— Двадцать девять.

Тишина. Дыхание под полом.

— Двадцать девять, — повторил голос. — До порога.

Чьи-то пальцы осторожно коснулись нитки на его щиколотке и тихо, нежно потянули.

Глава 5. Овраг

Проснулся он от тишины.

Не от шума и не от света, а от того, что в избе вдруг стало слышно, как люди дышат поодиночке. Ночное единство распалось, и это означало, что рассвело. Сквозь мешковину пробивался серый, водянистый свет. Верещагин лежал на полу, свернувшись, подтянув колени к животу, и левой ступни он не чувствовал вовсе: так туго затянулась красная нитка.

Дарья сидела рядом на корточках. Она не спала, это было видно по лицу, и молча, сопя, распутывала узел. Нитка врезалась в кожу, оставив багровую борозду, а когда её наконец размотали, кровь вернулась в ступню горячими иглами, и он зашипел сквозь зубы.

— Тянули, — сказала Дарья. — Всю ночь. Сперва тихо, потом сильней. Я держала.

— Кто тянул?

Она не ответила. Посмотрела на его ногу, на порог, снова на него. В глазах её не было ни страха, ни любопытства, одна усталость человека, который много лет подряд несёт тяжёлую вещь и уже не помнит, что её можно поставить на землю.

Он сел и прислушался к полу. Пол молчал. Но слово лежало в памяти, как камень на дне колодца, и он знал его раньше, чем успел спросить себя, было ли оно сказано. Так слышат во сне последний звук будильника.

Двадцать восемь.

Он натянул сапоги и только тут заметил, что борозды на голенище правого, три тонкие белые борозды, оставленные позавчера, потемнели и стали глубже. Теперь они были не белыми, а серо-чёрными, как ожоги, и кожа вокруг них стянулась рубцами. Он провёл по ним пальцем. Кожа была тёплой.

Нюша сидела у печного столба и играла тряпичной куклой. Девочка была бледна, с синими кругами под глазами, но во всём остальном походила на обычного пятилетнего ребёнка. Она подняла на Верещагина глаза и улыбнулась щербатым ртом.

— Ты вчера кричал, — сказала она. — Во сне. Что-то про ножки.

— Нюша, — сказала Дарья.

— А я ничего не слышала, — поспешно добавила девочка и снова склонилась над куклой. Подбородок её дрогнул. Она подобрала под себя обе ступни, одну на другую, так тесно, что стала похожа на маленький аккуратный узелок.

Верещагин вышел на крыльцо и сначала не понял, что именно видит.

Слобода двигалась. День был серый, туманный, и по улице туда-сюда ходили люди: бабы с вёдрами, мужики с вилами, подростки с мешками. Но ходили они странно. Не так, как ходят люди. Они хромали. Все, как один, и каждый по-своему. Женщина с коромыслом ставила ногу, потом другую, потом делала короткий скачок и замирала. Мужик с вилами шёл быстро, медленно, снова быстро, подволакивая то левую, то правую. Двое мальчишек прыгали на одной ноге, затем на другой, затем шли гусиным шагом, и в этом не было ничего детского, ничего смешного. Они работали. Они ходили так, как работают.

Слобода двигалась, как стая раненых птиц, и ни один шаг в ней не повторял предыдущего.

— Это называется «ломать шаг», — сказал Фёдор, незаметно вставший у него за спиной. Он был хмур, небрит и пах чем-то горьким, должно быть, полынью. — Днём оно спит, но не так крепко, как нам хочется. Если ходить ровно, оно привыкает к ходу и ждёт. А если ломать, не знает, чего ждать. — Он помолчал. — Малые учатся этому раньше, чем говорить. Мать берёт за руку и водит по двору: шаг, прыжок, шаг, подволок, шаг. Это первая наука у нас.

— А вчера ночью…

— Ночью оно не спит совсем. Ночью ходить нельзя вовсе. Вы, барин, ходили. Я слышал в окно. Вы шли странно, как Тимоша.

— Откуда ты знаешь, что это был Тимоша?

— Он один так ходит. Он по-другому и не умеет. — Фёдор сплюнул. — Не любят они его, барин. Не потому, что боятся. Потому что он им как заноза.

Он потёр небритую щёку.

— Хоронить сегодня. Фрола и Степку. Оба сразу. Отец велел. Вы бы пошли, это положено, хоть и страшное.

— Пойду, — сказал Верещагин.

— И не стойте там, где не велено. И не отвечайте, если позовут.

Хоронили на Фролове дворе, в полдень, когда туман поднялся и превратился в низкую серую крышу.

Носилки вынесли из ледника гуськом, не в ногу, как носили здесь всегда: каждый из четырёх мужиков нёс свой угол своей хромой походкой, и тело на носилках раскачивалось, как лодка на мелкой волне. Верещагину стало дурно от этого покачивания, и он отвернулся.

Вдова, Фёкла Нечаева, ждала у крыльца, держа за руки троих детей: двенадцатилетнего мальчика с лицом маленького старика, девочку лет восьми и совсем малыша, который не понимал ничего и улыбался. Когда носилки поравнялись с ней, она шагнула вперёд и вцепилась в рукав Верещагина с такой силой, что затрещала ткань.

— Барин. Ножки.

— Что?

— Ножки его. Без ножек не примет. Он без ног не дойдёт. Куда ж ему, бедному, как без ножек-то? — Она говорила быстро, горячо, без слёз, и в её сухих глазах горело то безумие, которое бывает у людей, цепляющихся за последнюю понятную им заботу. — Они в овраге, барин. Они там стоят. Мишка видел. Принесите. Христа ради. Я их по пятнышку узнаю, у него на левой, над щиколоткой, родимое, как ягодка…

— Фёкла Ивановна…

— Он ведь ходил. Всю жизнь ходил. Он по этой земле в церковь меня водил, к венцу. Он не может теперь идти без ног. Куда ему идти без них?

Верещагин посмотрел на детей. Старший мальчик смотрел на него в упор, не мигая, и в этом взгляде была такая взрослая, безнадёжная просьба, что Верещагин услышал собственный голос, прежде чем успел подумать:

— Я схожу.

Фёкла разжала пальцы. Она не поблагодарила. Она просто кивнула, как кивают тому, кто принял на себя долг, и вернулась к детям.

Плаху на Фролове пороге подняли Агафья и четверо мужиков. Работали молча и быстро, как люди, много раз делавшие страшное дело и давно потерявшие способность его бояться. Лом, подъём, чавкающий вздох. Из ямы потянуло теплом и сладким железным запахом.

Никодим стоял на двух досках посреди двора, широко расставив ноги, в облачении, которое трепал сырой ветер. Он читал отходную срывающимся голосом, не поднимая глаз от требника. Он ни разу не перекрестился: любое размашистое движение, шепнул он потом Верещагину, здесь считалось дерзостью.

Тело положили на край ямы.

И оно соскользнуло само.

Это было самым страшным. Верещагин видел, как мужики только коснулись носилок, чтобы поправить, и тело Фрола, обрубками вперёд, без всплеска и без звука, скользнуло вниз, как скользит в тёплую воду ребёнок. Красные стены на миг сомкнулись над ним, и больше не было ничего. Только вздох. Не из ямы, а из самого двора, из-под ног у всех.

И Верещагин заметил то, что потом долго не мог забыть: на лице у каждого, кто стоял у края, было одинаковое выражение. Облегчение пополам со стыдом. Мужики опустили глаза.

Бабы мелко перекрестились, прикрывшись платками. Старший сын Фрола, двенадцатилетний, медленно, беззвучно выдохнул.

Агафья вернула плаху на место. Один за другим она вбила три железных гвоздя, и с каждым ударом из-под дерева, совсем тихо, раздавалось что-то вроде «ох», как у человека, которому на ногу ставят тяжёлое. Потом она посыпала шов солью и перекрестила его большим пальцем левой руки, наоборот, справа налево.

— Теперь тихо, — сказала она. — Теперь неделю тихо.

Фёкла упала на колени и завыла. Дети молчали.

Степана хоронили через час, в двух десятках дворов оттуда. Верещагин пошёл со всеми, потому что остаться значило остаться один.

Матрёна ждала у открытой ямы с ведром. Это было то самое ведро с белыми нитями, и теперь оно было полно до краёв. Нити копошились, переплетались, шуршали, и от них исходил слабый запах прелых грибов. Матрёна держала ведро обеими руками, прижимая к животу, как носят ребёнка. Лицо её было ровным, спокойным, и седая прядь у виска, проросшая тонкой белой нитью, слегка шевелилась на сквозняке.

— Он красивый был, — сказала она никому. — Я его вымыла.

Тело Степана опустили, и оно тоже ушло само, быстро, легко, с мальчишеской улыбкой на лице. Тогда Матрёна, не торопясь, наклонила ведро и вылила нити в яму.

Они упали на красную глину клубком, на мгновение слившись в один живой, шевельнувшийся ком, и тут же ушли в неё без ряби, как черви в воду. Матрёна смотрела им вслед, и губы её шевелились. Она, должно быть, говорила что-то нежное.

Когда Агафья и мужики взялись за плаху, Матрёна вдруг бросилась вперёд и села на порог.

Села на самую плаху, спустив ноги в яму.

— Не отдам, — сказала она ровно. — Он мой. Не отдам. Пустите. Я с ним.

Мужики кинулись к ней. Фёдор Лапин схватил её за плечи, двое других за руки, и она закричала. Закричала впервые за двое суток, высоким, режущим, звериным криком. Её оттаскивали, а она цеплялась пальцами за дубовую плаху, и когда её наконец оторвали от порога, Верещагин увидел, что с кончиков её пальцев, из-под ногтей, вытягиваются в дерево тонкие белые нити. Они рвались с мокрым, шелестящим треском, оставляя на плахе тёмные капли, а на пальцах Матрёны дымились маленькие розовые ранки.

Она обмякла и больше не кричала. Только смотрела на яму, пока плаху вбивали обратно.

— Вы были у Агафьи, — тихо сказал рядом Никодим. Он подошёл незаметно и стоял так близко, что Верещагин почувствовал запах воска и ладана. — Она вам не всё сказала. Она не всё знает. Приходите, когда вернётесь из оврага. Только до темноты. И, ради Христа, ни с кем не разговаривайте по дороге.

— Откуда вы знаете, что я иду в овраг?

Никодим посмотрел на него. В его бледных, ввалившихся глазах была усталость человека, давно не спавшего.

— Фёкла Нечаева попросила вас. Она всех просит, кто приезжает. До вас она просила меня.

Агафья ждала его на краю слободы, там, где улица переходила в старую колею, ведущую к оврагам. Она сидела на пне, поджав ноги, маленькая, сухая, похожая на кучу тряпья, брошенную у обочины. Рядом с нею стоял Фёдор с холщовой сумой и рябиновой палкой.

— Руку, — сказала старуха.

Она достала из-за пазухи три длинных кованых гвоздя, тёмных, с шляпками, обмотанных красной шерстью. Один положила Верещагину на ладонь.

— Под пятку. В сапог. Острием вниз. Будет колоть, и хорошо: пока колет, ты не уснул. А если вдруг перестанет колоть, значит, ты уже наполовину не тут. Тогда бей себя по лицу, сильно, и громко называй своё имя.

— Своё имя?

— Полностью. С отчеством. Они его не знают. Они по голосу ходят, а не по имени.

Верещагин снял правый сапог. Гвоздь лёг под пятку холодной занозой, и он, поморщившись, подвернул портянку.

— Пепел, — продолжала Агафья, забирая у Фёдора сумку и отдавая её Верещагину. — Сыплешь через левое плечо, на след. Каждые три десятка шагов. Это не защита, барин. Это метка, чтобы ты знал, откуда пришёл. Там, внизу, бывает так, что дорога обратно… переезжает. И последнее. — Она подняла на него белые глаза. — Если позовут по имени, не отвечай. Если позовут голосом, который знаешь, не отвечай. Если позовут голосом, который ты любишь, зажми рот рукой. Это самое трудное. Они хорошо учатся.

— Что мне делать, если я всё-таки…

— Не будет «если». Будет «когда». — Она отвернулась. — И мальчика не гони, когда пойдёт следом. Он тебе нужен больше, чем ты ему.

Верещагин оглянулся. Шагах в тридцати от них, у околицы, на корточках сидел Тимоша, босой, в своей рубашонке, и смотрел на Агафью так, как смотрят на старую знакомую. Агафья не взглянула в его сторону. Но по тому, как застыла её спина, он понял: они знают друг друга лучше, чем кто-либо в слободе.

Постниковы овраги были не одним оврагом, а тремя, и они сходились к глубокой лощине, на дне которой в любое время года лежал туман.

Дорога спускалась петлями. Сначала шли берёзы, чёрно-белые, жёлтые на макушках, и глина на обочинах была обычной, серой, в иссохших трещинах. Потом берёзы кончились, и начался ельник, густой, сумрачный, с низко нависающими лапами, на которых лежал ночной иней. В ельнике было холодно по-настоящему. Дыхание вылетало изо рта клубами и тут же, как показалось Верещагину, втягивалось обратно, словно кто-то у самого лица вдыхал вместе с ним.

Фёдор шёл впереди, ломая шаг: один, прыжок, подволок, два, пауза. Верещагин старался повторять и злился на себя за то, как неловко это выходило. Через каждые тридцать шагов он, как велела Агафья, сыпал через левое плечо щепоть пепла, и серые следы пепла ложились на мёрзлую землю, как строчки.

На третьей версте, когда елей стало больше, а света меньше, начались вешки.

Первую он принял за сломанное деревце. Это был тонкий шест, выкрашенный чередующимися красными и белыми кольцами, воткнутый в землю наклонно. Потом он увидел следующий, в двадцати саженях от первого, потом третий. Целая линия межевых вех, уходящая вниз, в овраг, прямая, как нить, выверенная чьей-то профессиональной рукой.

— Землемер ставил, — сказал Фёдор, не оборачиваясь. — Весной.

Верещагин присмотрелся. Вехи стояли ровно, но, чем ниже они спускались, тем заметнее становилось странное: они клонились. Не просто наклонялись под ветром, а все одинаково, все в одну сторону, к центру оврага. Как стрелки компасов, забывшие о севере. Последняя из видимых вех лежала почти параллельно земле, указывая в туман вершиной, обмотанной выцветшей красной лентой, которая не развевалась на ветру, а тянулась вниз, как волос, который кто-то держит за кончик.

Место, где умер Фрол Нечаев, они нашли без труда. Телега стояла там, где её оставили: у самого края глубокой лощины, на узкой площадке между двумя красными глиняными откосами. Лошадь Мишка успел распрячь и увести, а телегу бросил, и теперь она казалась брошен-

ной ещё много лет назад: доски почернели, на колёсах нарос зелёный мох, который, как Верещагин знал, не мог вырасти за неделю.

Он подошёл ближе и остановился.

Земля вокруг телеги была изрыта.

Не следами. Следов не было ни одного: ни человечьих, кроме Фроловых и Мишкиных, ни звериных. Вся площадка в радиусе трёх саженей, как оспой, была покрыта мелкими круглыми лунками, каждая в палец глубиной, ровно, густо, концентрическими кругами, расходящимися от телеги к краям. В каждой лунке, на самом дне, темнела капля красной глины, свежая, влажная, словно её только что выдавили оттуда.

— Они щупали, — сказал Верещагин вслух.

Фёдор не ответил. Он стоял, повернувшись спиной, и вглядывался в чёрную стену ельника. Рука его, сжимавшая рябиновую палку, побелела.

Верещагин присел на корточки. Он не касался земли. Он смотрел, как смотрят на улику, и мысленно считал. Лунки шли кругами. Каждый круг был плотнее предыдущего. Ближе к телеге они почти сливались. Что-то много раз, терпеливо, пробовало землю вокруг этого места. Как слепой, который ощупывает пол комнаты, прежде чем сесть в кресло.

Прежде чем взять человека.

Он поднял голову и посмотрел на заднюю доску телеги, ту, на которой, должно быть, сидел Фрол. Она была истёрта. Не просто потёрта: стёрта до тусклого, влажного, чуть жирного блеска, как поручень, за который держатся сотни людей. Как порог.

На краю доски, там, где мужик, должно быть, свесил ноги, дерево было вытерто двумя ровными жёлобками. Они не походили на следы подошв. Они походили на следы пальцев.

Тонких, длинных пальцев, которые много раз, ласково и терпеливо, тянули за доску вниз.

— Дальше не пойду, — сказал Фёдор.

Он произнёс это так просто, так буднично, что Верещагин не сразу понял весь вес сказанного. Фёдор стоял, сжимая рябиновую палку, и смотрел не на следователя, а на красный откос, за которым начиналась лощина. Лицо его, обычно хмурое и замкнутое, вдруг стало совсем юным и беспомощным.

— Я мальчишкой раз сюда спустился, — сказал он. — С отцом. Отец велел. Чтоб увидел и больше не лез. Я потом три ночи не спал. И с тех пор… — Он сглотнул. — Я вас тут подожду, у телеги. Пепла вам хватит. Если не вернётесь до сумерек, барин, я уйду. Не обижайтесь.

— Не обижусь.

— Если услышите, что я вас зову, не идите. Я не позову. Но если услышите…

— Понял.

Он поправил суму на плече и пошёл вниз.

Откос оказался крутым и скользким. Глина здесь была красной и жирной, а пахла так, как пахнет земля из свежевырытой могилы: сыростью, железом, мясом. Верещагин шёл по ней, ломая шаг, и каждый раз, когда нога погружалась, ему казалось, что глина слегка, едва заметно, подаётся ему навстречу.

За спиной раздался шорох. Он обернулся. На гребне откоса, рядом с Фёдором, стоял Тимоша. Мальчик не взглянул на старшего. Он кивнул Верещагину, коротко, серьёзно, как кивают, когда договорено, и скользнул вниз так быстро и ловко, что обогнал следователя. Босые ноги его оставляли чёткие следы в красной глине. Следы, смотрящие вверх по склону.

Туман на дне лощины стоял стеной.

Верещагин шагнул в него и сразу потерял из виду откос. Белая, влажная пелена облепила лицо, и за ней, совсем близко, слышалось мерное, тихое поскрипывание. Не одного. Многих. Как если бы в пустой церкви, где ветер, висели сотни качелей, и все понемногу покачивались.

Тимоша шёл на шаг впереди и ничего не говорил.

Туман начал редеть неожиданно, как занавес. Только что Верещагин не видел собственных рук, а в следующий миг сквозь белое проступили очертания, и он остановился, и Тимоша остановился рядом.

Перед ними лежала впадина, чаша диаметром в добрую сотню шагов, ровная, как дно тарелки, вся одного глубокого рыжего цвета. И из этой рыжей земли торчали ноги.

Он понял не сразу. Первое, что увидел, были ровные ряды: как на огороде, как на кладбище, как в школьных тетрадях в линейку. Тонкие вертикальные тени, одинаково наклонённые под ветром. Он решил: молодой лес. Саженцы. Потом решил: колышки для натяжки сетей. Потом он разглядел, что на концах колышков надето.

Лапти. Сапоги. Онучи. Башмаки.

Ноги стояли в земле по колено, прямо, вертикально, как стоят посаженные деревья. Некоторые были розовые, свежие, с гладкой молодой кожей. Другие серые и дряблые. Третьи, самые старые, почернели, ссохлись, превратились в плотные, как торф, столбики, обутые в сапоги, давно сгнившие, висевшие лохмотьями. Их было не десять, не двадцать. Он начал считать и бросил на четвёртой сотне.

Они раскачивались.

Это было страшнее всего. Они не стояли неподвижно: каждая нога легонько, едва заметно, покачивалась вперёд и назад, и всё поле ног качалось в одном ритме, в лад, как колышется пшеница под ветром, хотя ветра не было. Тот самый скрип, который он слышал в тумане, издавали не качели, а трущиеся друг о друга кожаные голенища, скрипящие лыковые оборы и хрустящие в земле тонкие корешки, оплетавшие каждую ногу у основания белой мягкой сетью.

Над полем стоял лёгкий пар. Как над свежей пашней. Как над больным телом, у которого жар.

— Господи, — сказал Верещагин, и сказал вслух, и звук его голоса прокатился над полем, как камень по гладкой воде.

Все ноги разом замерли.

Тишина упала мгновенно, сплошная, звенящая. Верещагин чувствовал, как у него сводит скулы. Сотни ног стояли, не двигаясь, в красной глине, и ему казалось, что каждая из них, обутая и босая, свежая и сгнившая, прислушивается.

Тимоша дёрнул его за рукав и беззвучно, одними губами, сказал: «Тише».

Потом, очень осторожно, легко, как на цыпочках по льду, мальчик пошёл вдоль первого ряда. Верещагин пошёл за ним, ставя ноги туда, куда ставил Тимоша, стараясь не дышать.

Они шли мимо ног, как идут по госпитальной палате мимо коек.

Ноги были разные. Он видел детские: маленькие, пухлые, босые, до колен, с ямочками, и от них у него перехватило горло. Он видел женские, в вышитых чулках, в обшарпанных башмаках, и одну пару в бальных туфельках на каблуках, нелепых, ярких, из дорогого шёлка, провалившихся в рыжую глину по самую пряжку. Он видел босые мужицкие, мозолистые, с чёрными ногтями. Видел ноги в кандалах, должно быть, беглого, с ржавой цепью, вросшей в кожу. Видел в лаптях, в валенках, в офицерских сапогах с золочёными шпорами. И в каждой чувствовалась странная, терпеливая жизнь: ни одна не была мёртвой. Они были как спящие. Они были как дети, которых положили в кровать и просят не шуметь.

В третьем ряду он увидел тринадцать пар сапог. Все ровные, одинаково высокие, чёрные, в жёстком, как каменном, лаке грязи, и ноги в них уже почти слились с землёй, стали одной массой, из которой лишь кое-где торчали обрывки сапожной кожи. Тринадцать пар. Верещагин остановился, и Тимоша остановился, глядя на него спокойно, как смотрят на того, кто всё понял.

Тридцать лет, подумал он. Они стоят здесь тридцать лет.

И все эти годы они раскачивались.

Он пошёл дальше, потому что остановиться значило сойти с ума. В пятом ряду он нашёл то, что искал.

Лапти. Новые, светлые, с оранжевыми шерстяными оборами, затянутыми аккуратным узлом: так плела мужу обувь женщина, которая ещё недавно надеялась, что он придёт к ужину. Над лаптями поднимались розовые, крепкие, жилистые голени, с редкими светлыми волосками, и на левой, над щиколоткой, как ягодка, темнела родинка.

Фроловы ноги стояли в рыжей земле ровно, красиво, как посаженные деревья. Верещагин смотрел на них и не мог отвести глаз. Он вспомнил, как Фёкла описывала родимое пятнышко. Вспомнил, как мальчик её, двенадцатилетний, смотрел на него в упор.

Он шагнул ближе, и пальцы в лаптях поджались.

Он увидел это ясно, как видят молнию. Пальцы в светлых новых лаптях шевельнулись, медленно, плотно, как пальцы человека, которого пощекотали во сне. И вся нога, от лаптя до колена, дрогнула. Не качнулась. Дрогнула, как трепещет рыба на крючке.

— Не трогай, — прошептал Тимоша, и в голосе его впервые прозвучал страх. — Они ещё не знают, что они не его.

Он отступил на три шага и долго стоял, прижимая ладонь ко рту, пока не почувствовал, что его не вырвет.

Потом, не оборачиваясь к ногам Фрола, пошёл дальше вдоль ряда. Тимоша шёл рядом, тенью, и Верещагин вдруг осознал, что они оба идут в одном ритме. Ровно. Шаг в шаг. Он встряхнулся, ломая походку, и услышал, как где-то слева, в тумане, сотни ног сделали короткий, довольный полувздох.

В седьмом ряду, под одиноким камнем-валуном, стояла пара ног, которые резко отличались от остальных.

Ботинки. Городские, добротные, английского кроя, на шнуровке, с эластичными вставками по бокам и ровными латунными крючками. Такие носили люди, которые много ходили пешком, но не по деревенским дорогам. Ботинки были почти новыми, лишь забрызганными рыжим. Над ними поднимались ноги в серых брюках из тонкого сукна, и ноги эти, в отличие от остальных, были туго, виток за витком, обмотаны цепью.

Мерной цепью. С медными бирками.

Она обвивала обе голени, как повязка, и уходила вверх, под колени, где уже врастала в плоть, а внизу, у самой земли, сползала с ботинок и тянулась по рыжей глине прямой серебристой линией куда-то вглубь чаши, к центру. Тусклая, местами облепленная белыми нитями. Верещагин присел и тронул ближайшее звено. Оно было тёплым.

— Землемер, — сказал он.

Тимоша молча кивнул.

У подножия валуна, в углублении, прикрытом плоским камнем, виднелся уголок чёрной клеёнки. Верещагин поднял камень. Под ним лежал тугой свёрток, перевязанный шпагатом, аккуратный, непромокаемый, оставленный человеком, который знал, что его найдут, и позаботился, чтобы бумаги дождались.

В свёртке была записная книжка в кожаном переплёте. На обложке золотом, потускневшим от сырости, значилось: «Полевой журнал. К. Ф. Рейнхольд, землемер-таксатор Самарской межевой конторы».

Он раскрыл её и стал читать, присев на корточки, не отрывая стоп от земли и не отводя взгляда от строк. Почерк был аккуратный, ровный, немецкий, и только в последних страницах начинал разваливаться, как строй при бегстве.

14 апреля. Слобода Постниковы Овраги (старое название, по сведениям священника: Подпорожье). Приступил к съёмке. Население замкнуто, но гостеприимно. Странность: все

избы вместо порогов имеют цельные дубовые плахи, столь древние, что дерево окаменело. Попытка снять образец была встречена коллективным протестом, почти паникой.

17 апреля. Промер глубин шестом у порогов. У избы старосты Лапина шест в три сажени не достал дна. Применил цепь с грузом. На двадцати саженях дна нет. На сорока цепь пошла вниз легко, как по маслу, а потом натянулась. Мне показалось, что на другом конце кто-то взялся за неё.

22 апреля. Составил схему. Пороги всех изб расположены в узлах правильной сетки, шаг ровно семь саженей, и сетка не квадратная, а спиральная, завивающаяся к лощине. Лощина — центр. Слобода построена вокруг неё, как лепестки вокруг сердцевины. Либо вокруг ловушки, либо вокруг дверной ручки.

3 мая. Ночью слышал шаги под полом. Считал. Шаги совпадают с моими. Опыт: ходил по комнате, меняя темп. Эхо следует с задержкой в четверть секунды. Затем, если ускорить шаг резко, эхо начинает опережать. Рациональное объяснение отсутствует. Прошу не упоминать в докладе.

9 мая. Помощник Ульрих уехал. Отказался продолжать. Сказал, что слышит голос, который зовёт его по имени из-под пола. Я не слышу. Остаюсь: необходимо определить объём пустоты. Если хотя бы половина промеров верна, под слободой полость, способная вместить всю слободу целиком, вместе с погостом и церковью.

12 мая. Понял, что цепь не измеряет глубину. Она измеряет расстояние. Но до чего? Бирка на двухсотой сажени оказалась тёплой. На пятисотой бирка завибрировала. Там внизу кто-то держит конец. Он очень терпелив.

13 мая. Говорил со священником Никодимом. Он показал мне записи предшественника, которые считает бредом. Я не считаю. Предшественник пришёл к выводу, что пустота под слободой — не пустота, а полость тела. Что слобода построена на чём-то живом, и что порог — не дверь, а рот. Что мы находимся не над ним, а у него на языке.

14 мая. Сегодня сел на телегу отдохнуть. Ноги свесил. Глупо. Уже слышу скрип. Пишу, потому что осталось, вероятно, несколько минут. Прошу того, кто найдёт: не свешивайте ног, не садитесь на пороги, не ходите ровно. Берегите ноги. Они всё, что у вас есть.

Дальше на странице почерк менялся. Это был уже не аккуратный немецкий, а скачущий, карандашный, как у человека, пишущего на колене во время землетрясения.

Оно не злое. Не злое. Оно очень давно ждёт. Ждёт, чтобы кто-то пришёл и встал на его место. Дверь нужно держать, понимаете? Кто-то должен её держать. Тот, кто держит, устаёт. Срок выходит. Нужен новый. Нужен тот, кто сядет добровольно, сам, и скажет «да»…

Запись обрывалась на середине слова.

Верещагин поднял голову. Он только теперь заметил, что в тишине, воцарившейся над полем, чётко слышен тонкий звук: металлический звон, мерный, частый, как у часового механизма. Это звенели бирки на цепи, обвивавшей ноги землемера.

Цепь двигалась.

Она ползла, виток за витком, сматываясь с голеней и уходя по глине к центру чаши, тонкая, блестящая, живая. Ботинки стояли неподвижно, но носки их, как заметил Верещагин с застывшим сердцем, медленно, плавно разворачивались. Влево. Влево. Пока не оказались направлены прямо на него.

Они смотрели.

Вокруг, один за другим, ряд за рядом, как головы в театральном партере, начали поворачиваться носки.

Смех начался тихо.

Сначала Верещагин решил, что где-то далеко журчит вода по камням. Потом понял, что звук идёт не издали, а отовсюду, и не журчит, а булькает, тоненько, серебристо, как буль-

кает смех у детей, которых щекочут. Один голос. Другой. Десять. Сто. Поле смеялось. Тихо, радостно, счастливо, и от этого смеха у взрослого мужчины, следователя, закалённого десятком страшных дел, поползли по коже мурашки. Он не слышал в жизни ничего ужаснее. Это был тот самый смех, который описывал Ермил: радостный, как у детей, и лишний.

Тимоша схватил его за руку. Ладонь мальчика была ледяной и мокрой.

— Уходим. Сейчас. Не ровно. Не бегом. Ломай.

Они двинулись. Шаг, прыжок, подволок. Три шага назад, два вперёд. Верещагин старался ставить ноги так, как учил Фёдор, но руки дрожали, и ноги не слушались. А поле поворачивалось за ними. Поворачивались носки, колени, голени. Все они тянулись к нему, как подсолнухи к солнцу.

Потом по рыжей глине побежали нити.

Белые, тонкие, как волосы, они прорастали между ногами, струились по земле с тихим сухим шелестом, как струится позёмка. Сотни. Тысячи. Они стелились к его сапогам, быстро, жадно, ощупывая на ходу воздух.

— Тимоша!

— Не ровно!

Он прыгнул, и нити метнулись вперёд, к месту, куда он должен был приземлиться. Он вовремя поджал ногу, и нити хлестнули пустую землю. Они учились. Они уже поняли, что он ломает шаг, и теперь пытались угадать, как именно.

Тогда позвали.

— Платоша.

Голос был женский, мягкий, усталый, и он так хорошо его знал, что на мгновение мир перестал существовать. Мать. Она умерла, когда ему было двенадцать. Она звала его так в сумерках с крыльца, чтобы шёл ужинать.

— Платоша, ножки замёрзнут. Иди сюда, я согрею.

Он зажал рот рукой. Рука была мокрой от пота.

— Папа.

Это было хуже. Это был тонкий детский голосок, совсем маленький, из-за самых дальних рядов, и от него у Верещагина подогнулись колени, потому что он не слышал этого голоса три года. Лёля. Лёленька. Четыре года. Скарлатина, в Саратове, в марте. Он не плакал на похоронах. Он вернулся на службу через неделю. Он не хотел понимать, как они это узнали.

— Папа, я замёрзла. Тут холодно. Возьми меня.

Он остановился. Это было непроизвольно, как остановка сердца. Нога замерла в воздухе, чтобы шагнуть в сторону голоса.

И тогда перестал колоть гвоздь.

Он понял это не сразу. Только когда боль под пяткой, острая и злая, вдруг сменилась тёплой, ласковой тупостью, как будто ему на ногу надели мягкую домашнюю туфлю. Всё стихло. Страх ушёл. Он улыбнулся. Конечно, это Лёля. Конечно, она замёрзла. Нужно только подойти.

— Бей! — крикнул Тимоша, и голос его сорвался на визг. — Бей себя! Имя!

Верещагин ударил себя по лицу. Раз. Другой. Ладонью, с размаха, так, что в ушах зазвенело и из носа потекло горячее.

— Платон Ильич Верещагин! — заорал он, и звук разорвал смех, как нож разрывает полотно. — Платон Ильич Верещагин, следователь! Платон Ильич…

Поле ахнуло. Нити замерли в воздухе, как замирает мелодия, прерванная фальшивой нотой. Гвоздь под пяткой вернулся резкой, горячей болью, и он зарычал от радости, от боли, от возвращения.

— Идём!

Они бежали. Не бежали, а прыгали, ломались, падали, вставали, как калеки на войне, и нити хлестали по земле позади, но уже не успевали. На подъёме нога поехала в глине. Правый

сапог провалился, и вокруг голенища мгновенно сомкнулись белые пряди, тонкие, как женский волос, крепкие, как проволока. Они вцепились в кожу и потянули вниз. Верещагин рванулся, и острие гвоздя, прорвав подошву, вышло наружу. Тот самый гвоздь, шляпку которого Агафья обмотала красной шерстью, вонзился в тончайшую белую плоть.

Раздалось шипение. Нити вздыбились, закурились сизым, как волосы, брошенные в огонь, и скрутились, оставив на голенище чёрные подпалины. Из глубины чаши, из-под земли, из каждой ноги разом донёсся один длинный тонкий звук. Не крик. Скорее вздох, в котором было больше обиды, чем боли.

— Быстрее! — шептал Тимоша.

Они вырвались из тумана на склон, и Верещагин, рухнув на четвереньки, понял, что стоит на красной глине, а над ним, на гребне, чёрный силуэт с палкой размахивает рукой.

Фёдор.

— Живые! — кричал он. — Живые, Господи Иисусе! Вы кричали! Я слышал, вы кричали!

— Я назвал имя, — прохрипел Верещагин. Кровь из разбитого носа текла по губам. — Я назвал своё имя.

Тимоша стоял рядом, весь грязный, тяжело дыша. Он смотрел вниз, на чашу, на туман, из которого всё ещё доносилось тихое, довольное воркование. Потом, не поворачиваясь, сказал:

— Теперь они вас знают.

— Все так говорят, — ответил Верещагин и вдруг засмеялся. Смех вышел сухим и страшным. Он тут же зажал рот ладонью, потому что понял: никогда больше он не сможет смеяться так, чтобы поле не слушало.

Назад возвращались молча.

На подъёме Фёдор несколько раз порывался заговорить и всякий раз останавливал себя, глядя на разбитое, перепачканное кровью и глиной лицо Верещагина. У телеги он наконец протянул ему флягу, и следователь выпил, не разбирая, что пьёт: крепкое, едкое, пахнущее полынью. Тимоша скользнул вперёд, как зверёк, исчез в ельнике и больше не появлялся.

Сумерки застали их у околицы. Слобода уже затихала, ломала шаг, готовилась к колоколу. Верещагин хотел идти прямо к церкви, как звал Никодим, но Фёдор взял его за локоть:

— Поздно. Колокол скоро. Завтра.

У ворот Лапиных их ждала Фёкла Нечаева.

Она стояла посреди дороги, не прячась, одна, с тремя детьми, и в сумерках лицо её казалось вырезанным из дерева. Старший мальчик держал за руку младшую сестру. Верещагин остановился. Он знал, о чём она спросит, и не знал, что ответит.

— Ножки? — сказала Фёкла.

— Я не нашёл, — сказал он. — Там много… там очень…

Она смотрела не в его лицо. Она смотрела на сапоги, заляпанные красной глиной по самое голенище, прожжённые, чёрные, с торчащими обрывками белой волокнистой нити. Лицо её не изменилось.

— Нашли, — сказала она тихо. — Видели.

Он не ответил.

— Они живые? — спросил вдруг мальчик. Двенадцатилетний, взрослый, спокойный. Он не отрывал глаз от Верещагина. — Тятины ноги. Они ещё чувствуют?

Верещагин хотел солгать. Он открыл рот, и слово, которое должно было стать ложью, застыло на языке.

— Не знаю, — сказал он. — Мне показалось, что да.

Мальчик кивнул. Не заплакал. Только перевёл взгляд на мать и сказал тоном, каким говорят самые простые и самые безнадёжные вещи:

— Я так и думал. Я слышал ночью. Они поют.

Фёкла притянула его к себе и повела прочь, не оглядываясь. Дети шли за ней, ломая шаг: шаг, прыжок, подволок, как их учили с колыбели.

В избе уже сидели. Дарья молча привязала ему нитку и молча принесла холодных щей. Нюша дремала, прижавшись к печному столбу. Ермил на печи не шевелился.

Верещагин снял сапоги и только тут понял, что нога под правым голенищем липкая от крови. Он стянул портянку. Гвоздь, обмотанный красной шерстью, весь почернел и покрылся ржавой коркой, как будто пролежал в земле век. Острие его было обломано.

Потом он осмотрел левую ногу, ту, на которую вчера затянулась нитка, и замер.

От щиколотки до колена по бледной коже шли тонкие белые нити. Десятка два, не больше. Они росли прямо из пор, как волосы, и были так тонки, что он принял бы их за седину. Все смотрели вниз, к ступне, и едва заметно шевелились, как шевелятся водоросли в медленной воде. Он прикоснулся к одной. Она дёрнулась. Он потянул, и по ноге прошла тонкая, ледяная боль, а из поры выступила чёрная капля.

Ему показалось, что нить вздрогнула от удовольствия.

Он долго сидел, глядя на ногу. Потом достал из кармана складной нож, медленно, морщась, срезал нити у самой кожи, одну за другой, и бросил их в печь. Они вспыхнули с тонким запахом палёных волос.

Но когда он закончил и поднял глаза, нитки уже пробивались снова. Белые, ровные, мягкие, как пушок. Они росли быстрее, чем он успевал считать.

Он сидел на полу, обхватив колени, и слушал.

Пол молчал долго. Потом, в самый глухой час, когда в избе все уже спали, а слобода за стенами затаилась, как огромное животное, он услышал знакомый безликий голос, читающий по бумаге.

Он ждал: двадцать восемь. Двадцать семь, самое большее.

— Двадцать шесть, — сказал голос.

Два. Овраг стоил ему двух.

— До порога, — добавил голос почти ласково. И тихо засмеялся. И в этом смехе был каждый из тех, кто остался внизу.

Глава 6. Тимоша

Двадцать пять.

Он услышал это на рассвете, в том состоянии между сном и бодрствованием, когда мысли ещё не приняли форму, а тело уже знает, что болит. Голос под полом не торжествовал и не злорадствовал. Он просто сообщал, как сообщают время.

Болело всё левое бедро.

Он откинул полу шинели и посмотрел на ногу. Нити, которые вчера вечером он срезал у самой кожи, за ночь поднялись густой мягкой белой щёткой и покрыли голень до колена, а потом бедро, к паху. Они были уже не тонкими, как волос, а толстыми, как конский волос. Они шевелились. Они не просто росли, они тянулись: все одинаково, по струнке, вдоль ноги вниз, к ступне, и там, где они уходили в плоть, вздувались синие жилы. Нога была ледяной. Не холодной, а мёртво, мраморно ледяной, и когда он коснулся её пальцем, на коже остался белый след, как на замёрзшем стекле.

Он попытался пошевелить пальцами. Не вышло. Он попытался согнуть колено. Колено согнулось на треть и застыло.

— Дарья, — позвал он. Голос вышел хриплым.

Никто не ответил. И только теперь он заметил, что в избе стоит та особая тишина, которая бывает, когда все смотрят в одну точку.

Все были у окна. Все: Лапин с сыновьями, Дарья, Фёдорова жена с младенцем, шестнадцатилетняя девка, даже Нюша, прижавшаяся к дедову боку. Они стояли, тесно сбившись, у единственного окна, с которого сорвали мешковину, и смотрели во двор. Лица у них были белые, и в этой белизне, в окоченелой неподвижности Верещагин узнал то, что видел уже у Фёклы Нечаевой: сухое, безнадёжное принятие.

Он поднялся, цепляясь за стену. Левая нога волочилась по полу, как чужая. Дарья, увидев её, прикрыла рот ладонью, но не обернулась. Она только подвинулась, давая ему место.

Окно выходило во двор. Первый снег выпал ночью. Он лежал ровным слоем в два вершка, рыхлым, чистым, голубоватым в предрассветном сумраке, и Верещагин сначала не понял, что же так напугало их всех: мирная, красивая зимняя картина.

А потом понял.

На снегу были следы.

Не человеческие. Не звериные. Это были отпечатки ладоней. Длинных, узких, с неестественно длинными пальцами, каждая размером с ладонь взрослого мужика, но тонкая, плоская, как оттиск в сырой глине от рук, у которых нет костей. Они шли по двору сплошными густыми рядами, лежали друг на друге, перекрывали друг друга, тысячи, десятки тысяч, словно кто-то всю ночь ползал по двору на четвереньках, опираясь ладонями на снег. Они обходили дом. Кружили вокруг него. Прижимались к стенам, к ставням, к самому порогу, и у порога их было так много, что снег превратился в сплошное месиво, взбитое, утоптанное, истыканное острыми щелями пальцев.

И вот что было страшнее всего: ни одного следа ноги.

— Они ползали? — прошептал кто-то.

— Они ощупывали, — глухо ответил Лапин. — Они всю ночь нас ощупывали. Двери пробовали. Окна. Они знают, что мы тут.

— Это каждую ночь?

— Каждую. — Староста помолчал. — Обычно снег закрывает. А тут ударил в ночи первым, ровно, и всё показал. Так сразу и видно, сколько их. Они всегда ходят. Всегда. Просто мы не видим.

Верещагин смотрел на отпечатки. Один, у самой стены дома, прямо под их окном, был крупнее остальных. Он отличался и формой: не гладкий, а покрытый мелкими, ровными, как пчелиные соты, ячейками, и в каждой ячейке застыла маленькая красная капля. Это был не отпечаток ладони. Это был отпечаток чего-то, что прижималось к стене всем лицом.

Он не хотел думать, чьё это лицо. Но у лица были скулы, вмятины глазниц и рот, раскрытый в бесконечном, терпеливом, голодном зевке.

— Барин, — тихо сказал Фёдор. — Улицу гляньте.

Они вышли на крыльцо, ступая по доскам так осторожно, словно шли по тонкому льду. Улица лежала в мёртвой белизне. Над крышами не поднимался ни один дымок: слобода ещё не решилась топить. И по этой белой улице, прямая, как нитка, от рябовской избы к церкви на холме, шла цепочка следов.

Босые мужские ступни. Большие, красивые, с высоким подъёмом и широко расставленными пальцами. Следы молодого парня, который идёт быстро и легко, не ломая шага, не оглядываясь, потому что ему больше нечего бояться. Они были чёткими, глубокими, свежими, и в каждом, на дне, темнела маленькая красная лужица.

Верещагин вспомнил улыбку на мёртвом лице Степана Рябова и то, как он сидел на пороге, глядя на рассвет.

Он не стал спрашивать, куда шли эти следы. Он видел, что они упирались в церковную паперть.

Агафья пришла к полудню, и первое, что она сделала, увидев ногу, — отвернулась и закрыла глаза.

Она стояла в дверях горницы, куда Верещагина перенесли и уложили на лавку, обложив подушками, и молчала так долго, что Дарья, растиравшая ему стопу гусиным жиром, замерла с поднятой рукой. Нога под ладонью Дарьи не согревалась. Жир застывал на ней белыми комьями, как на холодной сковороде.

— Дойдёт до паха, — наконец сказала Агафья, не открывая глаз. — Потом до живота. Потом до сердца. Тогда пойдёшь к Рябовым, под порог, а мы тебя проводим. Нога уже не твоя, барин. Она по ту сторону.

— Что это?

— Они тебя метят. Ты у них теперь в книге. — Она открыла глаза и подошла, тяжело опираясь на палку. Села на пол рядом с лавкой, поджав ноги. — Земля учится тебя узнавать. Она знает твою походку, твой запах, твоё имя. Теперь она растёт в тебе, чтобы ты не мог от неё уйти. Скоро ты сам начнёшь к ней тянуться.

— Лечится?

— Выжигается.

Она сказала это так просто, что Верещагин не сразу понял.

— Железом, — пояснила Агафья. — Калёным. Каждую нить. От щиколотки до бедра. Если сейчас не выжечь, к завтрашнему утру они дойдут до живота. А там уже поздно: железо не достанет.

Дарья подняла на неё глаза. Она, женщина немолодая, много видевшая, побелела так, что лицо её слилось с холстом на подушке.

— Сколько ждать? — спросил он.

— Ничего не ждать. Сейчас.

Его положили на стол, потому что лавка была слишком узкой. Фёдор держал за плечи, Лапин за бёдра, ещё двое сыновей придавливали ноги, левую и правую, чтобы не бились. Во рту у Верещагина торчал кожаный ремень, пахнущий дёгтем и потом, и в горле стоял вкус страха, кислый, металлический.

Дарья сунула кочергу в печь. Она долго шарила в углях, пока конец не накалился до вишнёвого, потом до оранжевого, потом до белого. Агафья вынула её своей сухой рукой, обёрнутой мокрой тряпкой, и подошла к столу.

— Держите, — сказала она. — Крепко. Он будет кричать. Пусть кричит. Но если назовёт чьё-то имя, не слушать. Это не он будет.

Первое прикосновение было таким, что он не понял, что это боль. Просто мир на мгновение стал белым и тихим, и в этой тишине он услышал тонкое, жалобное шипение, и увидел, как над ногой поднимается прозрачный дым. Потом боль пришла. Она вошла в ногу, как вода в пробоину, хлынула вверх, в живот, в позвоночник, в зубы, и он закричал. Ремень вылетел изо рта. Он кричал так, как кричат только раз в жизни, не словами, а всем телом, всеми костями, всей кожей.

Нити горели.

Они корчились на раскалённом железе, вздувались, чернели, лопались с тонким писком, как лопаются жилы на огне. От них шёл запах палёного волоса и гнилых грибов. И с каждым выжженным вершком из-под пола, снизу, через доски, через стол, через самую кость, нарастал другой звук: не шипение, не писк, а долгий, тонкий, нечеловеческий вой. Он шёл отовсюду. Он шёл из печи. Из стен. Из земли. Это кричало то, к чему были подключены эти нити, и боль, которую оно чувствовало, Верещагин ощущал вместе с ним, двойной, невыносимой болью, как будто на раскалённое железо наступили не одной, а сотней ног.

— Держите! — крикнула Агафья. — Держите, не отпускайте! Оно бьётся!

Стол ходил ходуном. Мужики навалились на него всем весом, и всё равно ноги подбрасывало, как у лягушки, на которую подали ток. Он видел потолок. Видел чьё-то лицо, перекошенное, залитое потом. Видел белую искру в углу. Слышал, как Дарья, не переставая, читает: «Отче наш, иже еси на небесех…», и как Нюша на печи плачет тонко, на одной ноте.

— Ещё! — выдохнула Агафья.

Железо легло на бедро.

Он потерял сознание.

Пришёл в себя в сумерках, и сначала не понял, что лежит на лавке, укрытый. Голова была пустой и лёгкой. Горло саднило, и, облизнув губы, он ощутил на языке вкус крови: должно быть, прокусил губу.

Левая нога была забинтована от щиколотки до паха. Под бинтами, пропитанными золой и рябиновым отваром, билась тупая, дробная, тяжёлая боль, как будто в ней стучало второе сердце. Но нити исчезли. Он чувствовал это. Исчезло то давящее, шевелящееся, чужое ощущение, которое мучило его с утра. Нога была ледяной, но она снова была его ногой.

Агафья сидела у лавки на полу и жевала что-то сухое, медленно, по-старушечьи.

— Спишь, барин?

— Нет.

— Ну и ладно. — Она сплюнула в ладонь. — Выжгла. Не до конца. Не получится до конца. Они не нитями растут, барин. Они растут из того, что ты им дал. А ты им дал себя. Вчера, когда звал дочку.

Он закрыл глаза.

— Не думай, будто я не знаю, — сказала Агафья тихо, без злобы. — Все звали. Каждый из тех, кто в ту чашу спускался, кого-нибудь звал. Это не слабость. Но они берут это. Каждый раз. С каждым зовом в тебе появляется нитка, которая тянется к тому, кого ты звал. А тот, кого ты звал, лежит там.

— Моя дочь умерла в Саратове, — сказал он хрипло. — Она похоронена на городском кладбище.

— Была, — сказала Агафья. — Была.

Он не стал спрашивать, что она имела в виду. Он вдруг понял, что боится этого ответа сильнее, чем железа.

— Она вернётся? Нога?

— Нити вернутся. Не завтра. Через день, через два. Если не найдёшь способ остановить, будем жечь каждый вечер. Выдержишь неделю. Две. Потом сердце не вынесет.

— Какой способ?

Агафья посмотрела на него долго. Потом перевела взгляд на дверь и сказала:

— Мальчик знает, как с тобой это делают. Спроси его. Только осторожно. Ему слова даются дорого. Каждое слово ему стоит крови.

Тимоша пришёл, когда за окном совсем стемнело.

Он вошёл не через дверь. Верещагин, лежавший с открытыми глазами, не слышал ни скрипа, ни шагов, и только когда мальчик оказался прямо перед лавкой, понял, что тот давно сидит там, на корточках, в тени, поджав под себя ноги, как сидят дети, ожидающие, пока старшие закончат говорить.

Агафья давно ушла. В избе стояла предночная тишина, слышно было, как на печи ворочается Ермил, а в красном углу трещит лампадка. Лапины, подчиняясь привычке, расселись по полу вдоль стен. Никто не смотрел в сторону горницы.

— Тимоша, — сказал Верещагин.

Мальчик поднял голову. Лицо его в красном свете лампадки казалось одновременно совсем детским и совсем взрослым. Он был очень бледен. Под глазами залегли синие, почти чёрные тени. На рубашонке, на левом боку, темнело сырое пятно.

— Ты ранен?

— Нет. — Тимоша покачал головой. — Это не рана. Это слова. Они у меня внутри. Они царапают. Когда я долго говорю, они выходят кровью.

Он говорил медленно, взвешивая каждое слово, как нищий взвешивает последние монеты. Голос у него был тонкий, ровный, чуть шепелявый, и в каждом звуке была тщательность, будто он учил этот язык заново всякий раз. Верещагин смотрел на него и чувствовал, как внутри поднимается нечто, что он не мог назвать иначе, чем стыд: стыд человека, которого ребёнок учит жить.

— Агафья сказала, что ты знаешь, как это останавливается.

— Знаю. — Мальчик помолчал. — Но сперва вам надо знать, кто я. Иначе не поймёте.

— Если тебе трудно…

— Трудно. Но надо. Я лучше всех знаю дядю Мефодия.

Он расстегнул ворот и достал из-за пазухи маленький железный крестик на красной нитке, потемневший, истёртый. Показал на ладони.

— Вот. Он мне дал, когда я родился.

— Когда ты родился? Кто твой отец?

— Дядя Мефодий. — Тимоша сказал это так просто, что Верещагин не сразу понял. — Не так, как у людей. Он спал. Тридцать лет назад, когда лёг на порог и все по нему прошли. Он держит дверь руками. Руки у него онемели. Тогда ему стало сниться, что он не один. Что у него сын. Мальчик. Маленький. Которого нужно беречь, потому что кроме него никого нет. Он тосковал так сильно, что дверь это почувствовала. И дрогнула. И в щёлочку, в самую узкую, как волосок, вышел я.

Верещагин лежал не шевелясь.

— Они сначала не поняли. Они подумали, что это один из них выбрался. И долго не трогали. А потом заметили, что я не ихний. И не ваш. У меня тело как у вас, только ноги… — Он осёкся и посмотрел вниз. — Ноги остались там, в двери, наполовину. Они ещё смотрят туда. Я иду вперёд, а они тянут назад. Так и хожу. Назад вперёд.

Он подтянул штанину и стал разматывать тряпки на левой ступне. Верещагин хотел остановить его, но не успел.

Ступня была вывернута. Совсем. Пятка смотрела вперёд, пальцы назад, и кожа на щиколотке, перекрученная на полный оборот, лежала складками, как мокрая тряпка, которую выжимали. Она вся была покрыта багровыми и синими полосами. Из трещин сочилась сукровица. Кость выпирала там, где не должна была выпирать, а по голени шли следы шнуров, затянутых так туго, что в плоть врезались борозды. Агафья бинтовала ему ноги каждый вечер, чтобы не убежали.

— Мне больно, — сказал Тимоша спокойно. — Всегда. Но так лучше. Когда больно, они не могут меня потерять. Боль как нитка. Она держит меня здесь.

Верещагин отвернулся. Он смотрел в потолок, и в горле у него стоял ком, большой, горячий, и мысль, которую он не позволил себе довести до конца, была: восемь лет. Ему восемь лет, и он говорит об этом, как о том, что надо вставать рано.

— Нити у вас в ноге, — продолжал мальчик, снова наматывая тряпки, — это не нити. Это дверь. Она ищет вас, потому что вы смотрели в замок. Вы пришли с вопросами. Они любят тех, кто спрашивает. Те, кто спрашивает, всегда доходят до конца.

— И как это останавливается?

Тимоша долго молчал. Потом по его подбородку вниз скользнула тонкая тёмная капля, и он вытер её рукавом.

— Если кто-то сядет на порог лицом внутрь. Не как вы садитесь, а наоборот. Спиной к улице, лицом к избе. Ноги в дом. Тогда нити подумают, что вы уже согласились. Что вы уже сели. Они отпустят. На одну ночь.

— Кто сядет?

— Я.

— Нет.

— Я не как вы. Я могу сидеть наоборот, у меня ноги наоборот. Для них это правильно. Они не заметят подмены.

— Тимоша, нет. Ты ребёнок.

— Мне восемь лет, — сказал мальчик. — И тридцать. Вы не знаете, сколько мне. — Он вдруг улыбнулся, и в этой улыбке мелькнуло что-то такое древнее и усталое, что у Верещагина по спине побежали мурашки. — Дядя Мефодий слабеет. Каждую ночь ему тяжелее. Я его слышу. Он плачет. Тихо, чтобы они не слышали. Если сяду я, ему станет легче. Он поспит. Первый раз за тридцать лет. Я хочу, чтобы он поспал.

— А что будет с тобой?

— Не знаю. — Мальчик пожал плечами. — Я не пробовал.

Он поднялся, и Верещагин увидел, как трудно ему это далось. Тимоша покачнулся, схватился за край лавки. На рубахе уже расплывалось пятно, большое, тёмное, с неровными краями.

— Вы только одно запомните, — сказал он шёпотом. — Что бы ни говорили, не говорите им «да». Они будут просить. Они будут обещать. Они придут голосом, который вы любите. Они скажут: скажи «да», и всё закончится. Не говорите. Для вас закончится. А для других начнётся.

Он повернулся и пошёл к двери, ступая тяжело, как ходят те, кто несёт на плечах невидимый груз. На пороге горницы он остановился и посмотрел на Верещагина через плечо. Он смотрел назад, но тело его оставалось повёрнутым вперёд. И Верещагину стало так страшно, как не было страшно даже в поле ног.

— Это нельзя исправить, — сказал Тимоша. — Я уже пробовал. Спокойной ночи.

Колокол ударил один раз, и слобода села.

Фёдор перенёс его из горницы на руках, как носят больного ребёнка, и опустил на пол у печи, посреди остальных. Дарья обвязала красной ниткой здоровую щиколотку, а больную, забинтованную, осторожно обложила мешочками с солью и рябиновой корой. Кругом высыпали толстую линию соли. По краю линии, на расстоянии ладони друг от друга, выставили ножи остриём вверх. Девять ножей. На каждом из них лежала красная нитка.

Все сели. Все подобрали ноги. Лапин, его сыновья, жена Фёдора с младенцем, шестнадцатилетняя девка с глазами навыкате, Нюша, прижимающая к груди тряпичную куклу. Верещагин оказался в центре круга, как жертвенное животное, которое решили не резать до утра.

Сначала было просто тихо.

Потом он заметил, что изо рта у него идёт пар.

Дыхание вылетало белыми клубами, и это было странно, потому что печь, хоть и не пылала, ещё хранила жар. Он поднёс руку к лицу. Пальцы были холодными. Он потянулся к ближайшей стене, и ладонь коснулась не дерева, а тонкой колючей пленки, шершавой, как наждак. Иней.

Он рос на глазах. Верещагин видел, как по брёвнам, по потолку, по углам ползут тонкие белые узоры, ветвятся, переплетаются, множатся, и слышал при этом тихий, сухой, непрерывный хруст, как будто кто-то мелко крошил в пальцах сахар. Иней покрывал печной столб, лавки, иконы. На лике Спасителя в красном углу проступили белые бельма. Огонёк лампадки не гас, но съёжился до синей точки и лёг набок, как пламя на сквозняке, хотя сквозняка не было.

— Идёт, — прошептал с печи Ермил. — Идёт. Идёт.

У Фёдоровой жены, сидевшей напротив, посинели губы. Младенец у неё на руках не плакал. Он смотрел вверх широко раскрытыми глазами, и в зрачках у него отражался потолок, покрытый белой, шевелящейся бахромой. Мать прижимала его к груди и шептала что-то без звука, одними губами.

Стук начался в полночь.

Не стук в дверь. Не в окно. Он шёл снизу, из-под пола, из-под земли, три тихих, весомых, медленных удара: тук. Тук. Тук. Как стучат в крышку гроба, проверяя, не очнулся ли покойник.

И тут же, секунду спустя, ответили соседние дома.

Он слышал это ясно. Слышал сквозь стены, сквозь снег, сквозь версты промёрзшей земли: во всех избах слободы, у всех порогов, под каждой плахой одновременно прозвучало три глухих удара. Слобода стучала. Как огромное сердце. Как живот великана, внутри которого что-то ворочается.

Потом начались голоса.

Первым услышал Лапин. Он вздрогнул, как от удара, и лицо его, суровое, мужицкое, вдруг сморщилось по-детски. Он открыл рот, и из горла вырвался жалкий, дрожащий звук:

— Маша?

Дарья ударила его по губам. Резко, наотмашь, ладонью, так что хлопок прозвучал в тишине, как выстрел. Лапин захлебнулся и замолчал, и на глазах его, красных, налитых, выступили слёзы.

— Не слушай, — сказала Дарья ровно. — Не слушай. Это не она. Мы её схоронили в сорок восьмом, тебе послышалось, ты просто устал.

Но у неё самой дрожал подбородок, и когда из-под пола, ласково, на два голоса, донеслось: «Дашенька, доченька, иди к мамке, у меня тут тепло», она упала на колени и зажала себе рот обеими руками, так сильно, что побелели костяшки.

Фёдор плакал беззвучно. Девка шестнадцати лет раскачивалась, глядя в одну точку, и повторяла что-то про братика. Нюша, прижавшись к печи, трясла головой и шептала: «Стёпа, не надо, не зови». Она сама не знала, что зовёт её вовсе не Стёпа.

И тогда Верещагин услышал её.

— Папа.

Голос звучал так близко, будто девочка лежала рядом с ним, на соседней подушке, и говорила тихо, чтоб не разбудить мать.

— Папа, мне холодно. Ты же обещал.

Он закусил губу так, что почувствовал вкус крови. Обещал. Он действительно обещал. В ту последнюю ночь, когда Лёля, горячая, как печка, с распухшим горлом, бредила и звала его, он сидел у кровати, и она спросила: «Папа, ты не уйдёшь?» И он сказал: «Не уйду». А утром она умерла, и его не было рядом, потому что в шесть часов он вышел умыться.

— Ты ушёл, папа, — сказал голос. — Ты вышел умыться. Я ждала. Я так ждала. Пока ты умывался, они пришли.

Он понимал, что это ложь. Он понимал, что у них нет доступа к его памяти, что они только читают то, что он сам им отдаёт. Но от этого понимания было только хуже, потому что слова были правдой. Он действительно вышел в шесть. Он действительно не был рядом.

— Скажи «да», — прошептал голос. — Скажи «да», и я перестану мёрзнуть.

Пол треснул.

Звук был коротким, сухим, как будто кто-то переломил кость. Одна из досок у самого круга лопнула вдоль, и из щели повалил серый, густой, шипящий пар. Фёдор рванулся, но отец схватил его за плечо. Все замерли. Щель расширялась. Доска вздыбилась, как крышка закипающего котла, и из тьмы, из ледяной дыры, показались пальцы.

Длинные. Тонкие. Бескостные. Белые, как личинки. Они шевелились, ощупывали воздух, находили край доски и подтягивались, и за ними, на пол, лениво, как змея из норы, выползла рука. Одна рука. Другая. Третья.

Они искали.

Рука нащупала нитку на ноге Фёдоровой жены, потянулась по ней вверх, к щиколотке, и мягко, ласково обхватила её.

Женщина закричала.

Крик был таким, что в ушах у Верещагина лопнуло. Она дёрнулась, выронила младенца, и тот покатился по полу. Дарья в одно движение схватила со стола кухонный нож, широкий, тяжёлый, которым резали мясо, и с размаху, всем телом, ударила по руке.

Лезвие вошло в бледную плоть, как в тесто. Брызнула чёрная вязкая кровь, холодная, как ключевая вода. Пальцы разжались. Отрубленная кисть упала на пол, дёрнулась, повернулась, поползла, быстро перебирая пальцами, как огромный паук. Фёдор прыгнул на неё, придавил кочергой, и она вывернулась под железом и закричала. Тонкий, пронзительный, детский крик.

— В печь! — орал Лапин. — В печь её!

Кочергой отшвырнули её в топку. Угли сердито зашипели. Кисть сгорела за секунду, с вонью, от которой выворачивало кишки. Но щель в полу продолжала расширяться, и из неё, уже десятками, ползли новые руки.

Они лезли отовсюду.

Из щели в полу. Из-под печи. Из стен, где иней трескался и крошился, пропуская бледные пальцы. Они не нападали. Они ощупывали. Мягко, нежно, как слепые ощупывают лицо любимого человека. Они скользили по соли и обжигались, отдёргивались, возвращались. Лезли на ножи и резались, оставляя на лезвиях чёрные потёки. Нюшина нитка вдруг натянулась и лопнула с тихим звоном. Дарья в последнюю секунду схватила девочку за пятки и вдавила в ладони.

Круг соли таял. Верещагин видел, как белая линия темнеет, подмокает, превращается в серую грязь, как будто под ней сочилась вода. Холод стал таким, что на ресницах нарастали льдинки. Он перестал чувствовать правую ногу. Левая, перебинтованная, горела тупым огнём, и сквозь бинты, он понял это с ужасом, снова пробивались нити.

И тут пол под ним вздулся.

Он не успел понять, что происходит. Доски под спиной выгнулись, как живот дышащего зверя, лопнули, и прямо из них, из чёрной щели в полу, в двух вершках от его лица, выдвинулось лицо.

Серое. Влажное. Бледное, как брюхо рыбы. Все черты у него были размыты, как у слепленной в спешке куклы, кроме одного: рот. Рот был огромным, мягким, вывернутым наружу, весь покрытый мелкими пористыми ячейками, как пчелиные соты. И в каждой ячейке, в каждом отверстии, шевелилось что-то красное, живое, влажное. Оно улыбалось.

— Папочка, — сказало лицо голосом Лёли.

Верещагин не мог пошевелиться. Он смотрел в это лицо, и оно, медленно, как смотрят на любимого человека, открывало рот шире, шире, шире, и из глубины его шёл тёплый, сладкий запах молока и детской макушки. Его собственный рот, он чувствовал это, как во сне, начал открываться. Язык шевельнулся. Горло сжалось вокруг первого слога, и это был не звук отчаяния, а звук облегчения, чудовищного, предательского облегчения человека, у которого сняли наконец непосильную ношу.

— Д…

Он успел только это.

Дверь распахнулась.

Не от толчка, не от ветра. Она открылась сама, медленно, как открывают, входя в комнату, где спит больной. В проёме стоял ночной мрак, и снег, и ослепительная голубая луна, и от всего этого в избу ворвался вихрь, который не был ни холодным, ни тёплым, а был просто пустым, как воздух, из которого убрали все звуки.

В дверях стоял Тимоша.

Он был босой. Рубашонка прилипла к телу, мокрая от крови. Он шёл не так, как ходят люди. Он шёл, как ходят во сне, медленно, чуть покачиваясь, и следы его на пороге, на снегу, на половицах оставались чёткими, красными, повёрнутыми пальцами назад. Он ни на кого не смотрел. Руки он держал вдоль тела ладонями наружу, как держат те, кто вышел встречать гостей.

Он дошёл до порога. Остановился.

Потом, очень медленно, с таким усилием, будто опускался в кипящую воду, он сел. Сел на порог, спиной к улице, лицом внутрь, в горящую, ледяную, переполненную избу, и свесил ноги в комнату.

Ноги были вывернуты пятками вперёд.

Всё замерло.

Им, этим рукам, этому лицу, этим голосам, нужна была секунда, чтобы понять. Верещагин увидел, как лицо у самого его рта дрогнуло. Рот сжался. Голос Лёли оборвался на полуслове. Бескостные пальцы, ползавшие по полу, одновременно застыли, как стая паучков, замеревших от сквозняка. И потом, медленно, все до единого, начали втягиваться обратно в щель.

Они уходили.

Не спеша. Нехотя. С тихим, жалобным, свистящим звуком, как уходит вода в дырявый сосуд. Лицо опустилось в пол. Доски сомкнулись над ним, на мгновение издав долгий, довольный, сонный вздох. Иней на стенах задрожал, потемнел, стал таять, и с потолка на пол упали первые крупные капли.

Верещагин закрыл рот. Только теперь он почувствовал, что всё лицо его мокро: слёзы, пот, кровь из прикушенной губы.

Лапин вскочил, шагнул к порогу.

— Тимоша, — хрипло сказал он. — Малец. Хватит. Они ушли.

Мальчик не шевельнулся. Он сидел прямой, окаменевший, с широко раскрытыми глазами, смотрящими куда-то сквозь людей, сквозь стены, сквозь собственное тело. Губы его были синими. Волосы на глазах бледнели. Верещагин, не отрываясь, видел, как тёмные, почти чёр-

ные пряди над его лбом становятся пепельными, затем серыми, затем белыми, как зимний снег, как полотно, как кость.

— Он не слышит, — сказала Дарья. Голос её дрожал. — Он держит.

Из носа Тимоши потекла кровь. Тонкая струйка, потом две, потом третья. Из ушей. Из уголков глаз. Они не капали, а замерзали на лице, оставляя красные ледяные дорожки. Левая нога дёрнулась, и Верещагин услышал сухой, отчётливый, ужасный хруст: кость поворачивалась в суставе, возвращаясь на то место, куда её тянули.

— Не трогайте его, — сказал Фёдор. Он стоял рядом с отцом, мокрый, серый. — Если он встанет, оно вернётся. Он должен досидеть. До утра.

— Он умрёт, — прошептала девка.

— Нет, — сказал кто-то. Это был Ермил. Он сидел на печи, подтянув колени, и смотрел на мальчика с выражением, которое Верещагин не мог истолковать. Не страх. Не жалость. Узнавание. — Он не умирает. Он не умеет. Он другое. Ему хуже.

Ночь шла.

Никто не спал. Люди сидели вокруг, как сидят у постели умирающего, в грязи, в луже растаявшего инея, и слушали, как под полом тихо, нежно, с обидой, что-то сопит и вздыхает, как большой больной ребёнок. Время от времени в щели между досками мелькал бледный палец, но, наткнувшись на порог, на сидящего на нём мальчика, вздрагивал и прятался.

Верещагин не отводил глаз от Тимоши. Он видел, как к полуночи кровь на лице мальчика превратилась в сплошную ледяную маску. Как к трём часам ночи пальцы ног, торчавшие из тряпок, почернели. Как к рассвету изо рта у него вышел тоненький, почти невидимый белый пар, и это был последний знак, что он ещё дышит.

Он сам не заметил, когда начал молиться. Не как молился в детстве, длинно и красиво. Короткими, рваными, беспомощными фразами. Он, юрист, рационалист, скептик, лежал на мокром полу, смотрел на умирающего ребёнка и повторял: «Не надо. Пожалуйста, не надо. Господи, если Ты есть. Пусть берут меня».

Никто не ответил.

Когда за окном посерело, голос под полом произнёс спокойно, буднично, почти устало:

— Двадцать четыре.

И только после этого, в первых лучах рассвета, в луже тающей воды, Тимоша завалился на бок.

Мальчика отогревали три часа.

Дарья растирала ему руки и ноги гусиным жиром, Фёдор держал у губ ложку с тёплым молоком, но молоко вытекало из уголка рта и застывало на подбородке белыми ледяными нитями. Тело Тимоши было лёгким, как у птицы, и холодным, как лёд. Дыхание шло с промежутком в минуту.

Агафья вошла, увидела его, остановилась. Долго смотрела, и по её лицу Верещагин понял, что она видит это не впервые.

— Он садился раньше? — спросил он хрипло.

— Дважды. — Она опустилась на пол. — В первый раз, когда у Беловых сынишка потерялся. Во второй, когда Ермил ночью к двери пополз. Он тогда месяц не вставал. — Агафья коснулась лба мальчика костлявыми пальцами и отдёрнула руку, будто обожглась холодом. — В этот раз не встанет. В нём не осталось.

— Чего?

— Того, что держит. — Она отвернулась. — Он как лампа. Масла мало.

В этот миг мальчик открыл глаза. Они были белыми, без зрачков, как у слепого. Губы его шевельнулись. Дарья наклонилась.

— К дяде, — прошелестел Тимоша. — Отнесите. К дяде. Он ждёт.

Дорога на холм заняла полчаса, и Верещагин потом много раз вспоминал её как самое тихое, самое страшное шествие в своей жизни.

Фёдор тащил санки, на которых лежал мальчик, завёрнутый в овчину. Рядом, опираясь на плечо Лапина и на толстую палку, ковылял сам Верещагин, и каждый шаг отдавался в обожжённой ноге такой болью, что темнело в глазах. Позади, не отставая, но и не приближаясь, шла Агафья. Слобода лежала в голубоватом утреннем свете, под тонким нетронутым снегом, и вся была, как огромное лицо, обращённое к ним закрытыми веками ставен.

И вдруг двери начали открываться.

Одна. Другая. Третья. Не настежь, а на ладонь, на щель. В каждую выглядывала женская рука, высовывалась, быстро, испуганно, и клала на снег у порога что-то маленькое: ломоть хлеба, варёное яйцо, клубочек красной шерсти, медную монету, горсть соли, кусок сахара в тряпице. И так же быстро исчезала. Так делали на каждом дворе. Никто не показывался, никто не говорил, но когда санки с мальчиком проезжали мимо, снег у порога покрывался маленькими дарами, как покрывается росой трава.

Это была благодарность. Не сказанная, а положенная на землю.

— Они его любят, — тихо сказал Лапин. Голос его дрогнул. — А показывать боятся. Всю жизнь боялись. Он не наш.

На церковной паперти снег был взбит. Сотни следов, босых, мужских и женских, детских и взрослых, перекрывали друг друга, расходились кругами, сходились вновь. Они вели внутрь. Они не вели обратно.

Двери были распахнуты. Из них тянуло холодом, таким густым, что тело мальчика на санях покрылось тонким инеем, едва они подошли.

Никодим стоял на ступенях. В облачении, бледный, с воспалёнными веками, с чёрными кругами под глазами. Он, должно быть, не спал уже двое суток. В руках у него была зажжённая свеча, и пламя её горело ровно, но синеватым, мёртвым светом.

— Я ждал, — сказал он. — Он сел ночью. Я слышал. Всю ночь слышал. — Он перевёл взгляд на санки и вздрогнул. — Нет. Не говорите. Я вижу.

Внутри церкви было холоднее, чем снаружи. Холод стоял, как вода. Иконостас покрывала белая плёнка, и лики святых, залитые льдом, казались утонувшими. Свечи не горели. Никодимова была единственной.

Он повёл их вдоль нефа, и шаги его, и шаги Фёдора отдавались гулким эхом, но не дробным, не скребущим. Простым. Человеческим. В церкви не было эха под землёй. Верещагин понял, почему. Здесь держали дверь.

У алтаря Никодим остановился, поставил свечу и опустился на колени перед плитой, лежащей на полу в царских вратах. Плита была серой, массивной, вытертой тысячей подошв. На ней вырезан был простой крест. Никодим положил на него ладони.

— Держите свечу, — сказал он Верещагину. — Не смотрите, пока не скажу. Не говорите ни слова. Что бы ни услышали. И, ради Христа, не называйте его по имени. Он этого не вынесет.

Он поднял плиту. Не сам. Фёдор и Лапин помогали, и камень, скрежеща, сдвинулся в сторону. Из-под него хлынул холод. Не воздух, а именно холод, плотный, чёрный, физически ощутимый, от которого пальцы в один миг онемели.

В полу открылась квадратная яма, перекрытая железной решёткой, и сквозь прутья, снизу, сочился слабый серебристый свет. Свет, в котором плавала мелкая, как мука, ледяная пыль.

— Смотрите.

Верещагин наклонился над решёткой, держа свечу в вытянутой, дрожащей руке.

Шахта уходила вниз сажени на три, стенки её были из тёсаного камня, сплошь затянутого льдом. Лёд был не белым, а прозрачным, синеватым, с вмёрзшими в него пузырьками воздуха

и какими-то тёмными нитями, и сквозь него, как сквозь стекло, просвечивали старые кладки. На дне, в нише, под сводом, он увидел его.

Человек лежал ничком на каменной плите.

Он был длинный, тощий, в рясе, превратившейся в серые лохмотья, и покрыт инеем так плотно, что казался вылепленным из снега. Волосы на голове, длинные, спутанные, торчали замёрзшими прядями. Руки были вытянуты вперёд, далеко, до предела, и держались за что-то в стене. Верещагин присмотрелся, и желудок его сжался.

В стене была дверь.

Круглая, с мельничное колесо, из чёрного, мокрого, будто потеющего дерева. Доски её были вздутые, выгнутые наружу, как стенки бочки, в которой что-то бродит. По ним шла мелкая дрожь, ритмичная, ровная, как у зверя, который дышит. В центре двери висело большое железное кольцо, чёрное, поеденное ржавчиной, и в это кольцо, обеими руками, мёртвой хваткой, вцепился лежащий.

Нет, не вцепился. Верещагин понял это через секунду. Пальцы его не держали кольцо. Они срослись с ним. Железо проросло в плоть, а плоть в железо, и на месте суставов остались только чёрные, облитые льдом бугры, как у старого дерева, обвившего ограду. Над кольцом, на высоте груди, из-под инея проступали вены, синие, натянутые, как струны.

За спиной у лежащего, у самых его ног, виднелось другое. Ступни его были прижаты к противоположной стене ниши, босые, обглоданные до костей, чёрные, с торчащими обломками ногтей. Он упирался ими в камень, как упирается человек, тянущий непосильную тяжесть. А вокруг щиколоток и голеней, как верёвки, как лианы, обвивались белые нити. Тысячи нитей. Они уходили в трещины под плитой, в темноту, и все были туго, до звона, натянуты вниз.

Он держал дверь руками и удерживал себя ногами. Из последних сил. Тридцать лет.

Лежащий поднял голову.

Это было медленно. Очень медленно. С хрустом, с треском, с таким звуком, с каким ломается лёд на реке в апреле. Лицо, повернувшееся к решётке, не было лицом человека. Оно было лицом, которое человек носил, как носят пальто, пока пальто не истлело. Кожа обтянула череп, как тонкий пергамент, и сквозь неё просвечивали кости. Борода и брови заиндевели. Губы раскололись. А глаза, огромные, провалившиеся, смотрели из глубины глазниц двумя голубыми льдинками, и в них не было ни безумия, ни отчаяния. Только усталость. Нечеловеческая, вековая усталость.

Пламя свечи в руке Верещагина вдруг стало синим.

— Тим… — выдохнул лежащий. Голос поднялся из шахты не звуком, а ощущением. Вибрацией в костях. Он был сухой, шелестящий, как бумага. — Тимофей. Сынок.

Фёдор опустил санки на самый край решётки. Овчина распахнулась. Мальчик лежал бледный, прозрачный, с ледяной маской на лице. Губы его шевельнулись.

— Дядя.

— Тихо, — сказал голос из шахты, и в нём впервые прозвучала нежность. — Тихо, тихо, родной. Не говори. Слово — кровь. Я слышу. Я всё слышу. Ты сидел. Я почувствовал. Я первый раз за столько лет закрыл глаза. Час. Ты слышишь, час. Я видел сон. Там было лето, и ты бежал по траве, и не хромал.

Мальчик заплакал. Беззвучно, без дрожи, одними слезами, которые, скатываясь по щекам, мгновенно замерзали и оставались на коже блестящими ледяными бусинами.

— Дурачок, — сказал лежащий. — Дурачок мой. Я ведь просил. Не садись. Я сам. Но спасибо. Спасибо тебе.

Потом глаза-льдинки медленно, с трудом, повернулись к Верещагину.

— Следователь.

— Я…

— Не говори. Покажи лицо. Ближе. Свети.

Верещагин опустил свечу. Он чувствовал на себе взгляд, и взгляд этот был тяжёл, как ладонь.

— Хорошее лицо, — сказал голос. — Усталое. Но живое. Ты не боишься задавать вопросы. Они тебя за это выбрали. Остальные тут знают и молчат. Ты спрашиваешь. — Лёд хрустнул. — Слушай. У меня мало слов.

Он закрыл глаза. Дверь под его руками вздрогнула, и по всей шахте прошёл долгий, тяжёлый, живой вздох.

— Двадцать четыре ночи. Столько осталось. На двадцать пятую я упаду. Пальцы срастаются с железом. Уже не отрываются. Когда я перестану держать, они выйдут. Все. Начнут с вас, с тех, кто выше, потом пойдут к другим.

— Кто они? — спросил Верещагин хрипло. — Что там?

— Не знаю. — Просто, без утайки. — Тридцать лет лежу лицом в дерево, а оно слушает меня, как я слушаю его. Нижние. Не злые. Не добрые. Те, кого не взяли целиком, кого оставили на границе. Они хотят вверх. К теплу. Они не знают, как иначе, и обнимают так, что ломают. — Он замолчал. — Им больно, следователь. Им больнее, чем нам. Я иногда чувствую. Это самое страшное.

Где-то в глубине двери, за досками, что-то тихо стукнуло. Один раз.

— Нужен новый, — продолжил лежащий, и в голосе его впервые прорезалась торопливость. — Тот, кто ляжет на моё место. Кто возьмётся за кольцо сам. Добровольно. Без страха. Без принуждения. Это главное. Если ляжет со страхом, дверь почувствует и сорвёт.

— Я пробовал, — сказал Никодим. Он стоял на коленях, закрыв лицо ладонями, и голос его звучал глухо, как из колодца. — Я лежал здесь ночью, на плите, рядом. Я хотел. Я знал, что должен. И не смог. У меня есть страх, Мефодий. Прости. Он во мне, как гвоздь.

— Не терзайся, отче. — Голос стал мягким, почти ласковым. — Страх не грех. Но дверь его не терпит.

— Почему вы мне это говорите? — Верещагин с трудом удерживал голос. — Я не священник. Я не из ваших. Я здесь случайно.

— Не случайно. Никто не приезжает случайно. — Глаза открылись. — И я тебя не прошу. Не сейчас. Я тебя предупреждаю. Они придут за тобой с голосом, который ты любишь. Они будут просить. Они будут обещать. Скажут «да», и всё закончится. Не говори. Не торопись. Но и… — Он закашлялся, и изо рта вышло облако ледяного пара. — И не тяни до последней ночи. Тот, кто говорит «да» от ужаса в последнюю ночь, говорит его не себе, а им. А ужас они любят.

Дверь содрогнулась.

Три удара, глухих, тяжёлых, один за другим, и от каждого по шахте пробежала волна. Лёд на стенах потрескался. Мелкие осколки посыпались вниз, зазвенели на плите. Лежащий закричал. Высоко, надрывно, не голосом человека, а голосом самого железа, которое тянут в разные стороны. Кольцо взвизгнуло. Вены на его руках вздулись, посинели, почернели. Нити на ногах натянулись так, что Верещагин услышал, как лопаются сухожилия.

— Закрывайте! — закричал Никодим. — Закрывайте!

Плита ударила в пол с такой силой, что вздрогнули стены. Мгновенно погасла свеча. В темноте церкви, в абсолютной черноте, раздался голос Никодима, читавшего «Отче наш» сбивающейся скороговоркой, и тихое, надрывное, детское рыдание. Тимоша.

Верещагин стоял на коленях, прижимая к груди обожжённую ногу, и слушал, как под плитой, глубоко, снова и снова что-то бьётся и затихает, бьётся и затихает, как сердце в груди умирающего.

Потом, из-под самого пола, тем самым ровным голосом, каким читают по бумаге, прозвучало:

— Двадцать три.

И только теперь он понял, что голос считал не ночи.

Он считал то, что оставалось в руках у человека, лежащего внизу.

К вечеру, когда Тимошу уложили у печи и Дарья в десятый раз сменила на нём тряпки, староста молча позвал Верещагина на крыльцо.

— Я покажу вам то, чего вы не видели, — сказал Лапин. — Чтоб не думали, что можно уехать.

Они поехали на санках, которые тащил Фёдор. Верещагин сидел, подобрав забинтованную ногу, и смотрел, как слобода уходит назад: чёрные избы, тёмная церковь, пустые огороды под снегом. Дорога на восток вела мимо последних плетней и обрывалась у границы полей, там, где начиналась степь, ровная и белая до самого горизонта.

Лапин остановил санки.

— Вот.

Сначала Верещагин не понял. Ему показалось, что вдоль горизонта, на расстоянии трёх вёрст от слободы, стоят какие-то кочки, торчащие из снега, неровно, на одинаковых промежутках, как межевые столбы. Потом он увидел, что кочки круглые. Потом, что на них что-то надето. Потом, что это не кочки.

Это были люди.

Они сидели. Сидели на снегу, подобрав колени, обхватив их руками, спиной к степи и лицом к слободе, десятками, сотнями, ровным кольцом, замкнувшим слободу, как венок. Мужчины и женщины, старики и подростки. Одни в тулупах и валенках, другие в лаптях и рубахах, третьи в старинных кафтанах, какие носили ещё при Екатерине. Снег лежал на их плечах и головах толстыми шапками. У некоторых из-под снега виднелись только глаза.

Глаза были открыты.

— Они уходили, — сказал Лапин глухо. — В разные годы. Кто за хлебом. Кто просто жить. Кто от страха. Доходили до этой черты, и ноги садились сами. Не поддавались, не несли дальше. Падаешь, как подкошенный, и сидишь. Встать нельзя. Ползти нельзя. Кричишь, а никто не слышит. Только смотришь назад, на дома, пока не замёрзнешь.

— Но можно же… — Верещагин сглотнул. — Вытащить.

— Вытаскивали. У вытащенного ноги садятся ещё в избе. Тоже. Мы их так и оставляем, барин. Земля их не берёт.

Верещагин вылез из санок. Нога заныла, но он, опираясь на палку, медленно пошёл вдоль кольца. Он шёл мимо сидящих, и снег скрипел под сапогами, и каждый раз, когда он делал шаг, ему казалось, что глаза в снегу медленно, едва заметно, следят за ним.

Он видел женщину в синем платке, прижимающую к груди свёрток: младенца, вероятно, замёрзшего вместе с ней. Видел мальчика лет десяти, босого, с поднятой рукой, точно хотел помахать кому-то. Видел старика в рваном кафтане с медалью на груди. Видел человека в городском сюртуке, с ящиком под мышкой и трубкой от теодолита, торчавшей из рукава. Видел молодую девушку в венке из выцветших бумажных цветов, и в венке её, на самой макушке, лежала красная ленточка, наполовину занесённая снегом.

У них у всех были лица людей, которые вдруг передумали.

— Сколько их? — спросил он.

— Не считали. — Лапин стоял у санок. Голос его доносился с трудом. — Прокоп говорит, больше тысячи. С тех пор, как дом ставят.

Верещагин остановился перед последним в ряду. Это был парень лет двадцати, в добротном тулупе, с мешком за спиной. Мешок так и остался на плечах, перевязанный верёвкой, и из-под него торчала краюха хлеба, превратившаяся в камень. Юноша сидел, склонив голову к плечу, и на лице его застыла странная, детская обида, как у человека, которого очень долго обещали отпустить.

Да, подумал Верещагин. Они ушли. Ноги ушли.

А головы остались и всё ещё хотели вернуться.

Глава 7. Выселки

Он проснулся не от голоса. Голос под полом пришёл потом, ровный, как всегда: «Двадцать два». Разбудил его крик, который ударил в избу с улицы, как топор в колоду.

Кричал мужчина. Не словами. Протяжным звериным воем, в котором не оставалось ничего человеческого, кроме боли. Крик приблизился, захлебнулся и оборвался стуком в дверь. Стук был такой, что с косяка посыпалась труха.

Фёдор отодвинул засов. На пороге, на коленях, в снегу, стоял Белов.

Старик Белов, отец Дуни, с жёлтыми от табака усами. Он не поднимал головы и держал перед собой руки. Ладони были разодраны в мясо: он, должно быть, бил ими по земле, по снегу, по камням, пока не стёр кожу. А на пальцах, на запястьях, на рукавах тулупа висели длинные пряди бурой шерсти.

— Дуньку, — выговорил он. — Дуньку взяли.

Никто не двинулся. Дарья закрыла рот ладонью. Старый Лапин, сидевший у печи, медленно опустил голову.

Верещагин встал. Нога болела так, что в глазах плыло, но он взял палку и вышел на крыльцо.

Двор лежал белый, нетронутый. Ладоней на снегу не было. Ни одной. Вместо них от ворот через двор и дальше, по улице, на восток, тянулась одна-единственная дорожка. Волчьи следы, широкие, глубокие, с острыми когтями. А рядом, шаг в шаг, следы босых человеческих ног.

Они шли вместе. Лапа и пятка. Лапа и пятка. А потом, шагов через двадцать, посреди улицы, следы менялись местами: волчьи становились человечьими, человечьи волчьими, как будто идущие переодевались на ходу. Верещагин всматривался и вдруг понял, что видит.

Это не были двое. Это был один и тот же след.

— Нельзя, — сказал за его спиной Лапин. Голос у старосты был ровный, мёртвый. — Барин. Прошу вас. Не ходите.

— Куда они ведут?

Лапин молчал.

— Сидор Кузьмич.

— На выселки.

Это слово он произнёс так, как говорят «в могилу».

Верещагин повернулся и пошёл в избу. Не к печи, а в горницу, где под лавкой лежал его саквояж. Он вытащил револьвер Лефоше, тяжёлый, холодный, тот самый, который взял из Самары на всякий случай и ни разу не доставал. Проверил барабан. Шесть патронов. Положил в карман ещё двенадцать.

Когда он вышел, у ворот уже стояла Агафья.

Она появилась, как всегда, из ниоткуда, маленькая, серая, в низко надвинутом платке. Рядом, опираясь на дубовые вилы, стоял Белов, молчаливый, почерневший, и ещё трое мужиков, которых Верещагин видел только мельком. Прокоп, могильщик, с лопатой на плече. Захар, глухой охотник лет шестидесяти, всю жизнь ходивший по лесу один, с длинным кремнёвым ружьём и мешком за спиной. И Фёдор, с ружьём за плечом и топором за поясом. Он затягивал кушак и не смотрел ни на кого.

Агафья протянула Верещагину мешочек. Тот зазвенел.

— Гвозди. Подковные. Заместо картечи. Сыпь в ствол, а в револьвере шомполом утрамбуй. Железо их жжёт.

Она вынула из-за пазухи ещё один свёрток и раздала подковы. Старые, ржавые, с вытертыми отверстиями. Каждый подвязал себе на подошву валенок красными нитками: подкова шипами вниз, как подкованное копыто.

— Земля их слышит по шагу, — сказала Агафья. — А железо глушит. Идите не по дороге. Идите по сугробам, ломайте шаг. Днём они не спят, но слабее. До темноты вернуться. Не вернётесь, не возвращайтесь.

Она подняла белые глаза на старосту. Лапин стоял на крыльце, прижимая к груди шапку. Лицо его было серым.

— Ты знал, — сказала Агафья.

Лапин не ответил.

— Знал, — повторила она и сплюнула в снег.

Они вышли за околицу, когда рассвет ещё только размазывался по востоку жидким розовым светом. Идти было тяжело. Нога под повязкой горела, как в печи. Верещагин опирался на палку, как старик, и всё время чувствовал спиной неотрывный взгляд слободы: тысячи глаз за ставнями.

Он оглянулся один раз. На крыльце Лапиных стояла Дарья с тряпичным свёртком. Рядом с ней, на самой плахе порога, сидел Тимоша, босой, в одной рубашонке, совершенно седой. Он смотрел на Верещагина и поднял руку.

Не махнул. Только поднял, ладонью вперёд. Предупреждая.

Верещагин отвернулся и шагнул в лес.

Лес начался сразу за последним огородом, и первые полверсты они шли по нему молча, ломая шаг.

Захар шёл впереди, держа длинное ружьё на сгибе локтя. За ним Белов, с перевязанными руками, и на ходу, не останавливаясь, он шептал одно слово: «Дуня. Дуня. Дуня». Потом Верещагин, хромая, опираясь на палку. Потом Прокоп с лопатой на плече, как солдат с ружьём. Замыкал Фёдор, оглядываясь через каждые десять шагов.

Снег лежал глубокий, рыхлый, и подковы под валенками глухо шуршали в нём. Деревья стояли голые, чёрные, в белом инее, и стояли так тихо, что слышно было, как где-то далеко-далеко падает с ветки ледяная крошка.

Ветер возник из ниоткуда.

Не подул, а вырос, как вырастает вода в колодце: сперва тихо, у ног, потом по колено, потом по грудь. Вокруг поднялась снежная пыль, закрутилась низкими, быстрыми, злыми вихрями. Верещагин поднёс руку к лицу, чтобы заслониться, и в тот же миг вихри встали на дороге столбами.

Девять.

Они стояли полукругом, шагах в двадцати, и были выше человеческого роста. Белые. Сплошь из снега и ледяной пыли, как из соли. У каждой имелось подобие лица, гладкого, прозрачного, голубоватого, как лёд на лужах: два тёмных провала глаз и узкий рот, раскрытый в тихой, сонной улыбке. Волосы, длинные, летучие, из тонких ледяных нитей, развевались, хотя ветра не было. Рукава ниспадали до земли и сливались с позёмкой. Они покачивались. Все вместе. Мерно, нежно, как качают колыбель.

А внизу, там, где у женщин должны были быть ступни, из снежной пыли торчали копыта.

Тонкие. Раздвоенные. Чёрные, лаковые, остроконечные. По девять пар. Они не касались земли, но снег под ними шипел и таял, оставляя на поверхности круглые тёмные лунки.

— Метелицы, — выдохнул Фёдор. — Господи Исусе. Не слушайте…

Поздно. Они уже пели.

Пел не рот. Пел воздух. Тонкий, высокий, убаюкивающий звук, похожий на то, как шуршит позёмка по насту, и в нём, если вслушаться, различались слова. Ласковые. Простые. «Сядь. Сядь. Отдохни. Ноги устали. Присядь на снежок, милый. Ляг. Тепло будет. Тепло».

Белов остановился. Он вдруг, медленно, без звука, начал опускаться на колени. Лицо его разгладилось, как у спящего ребёнка. Фёдор в два прыжка оказался рядом и со всей силы

ударил его по щеке. Раз, другой. Белов дёрнулся, захрипел, очнулся и вцепился в рукав Фёдора, дико таращась по сторонам.

А Захар шёл вперёд.

Он был глухим. Он не слышал ни пения, ни слов. Он видел только то, что было перед глазами: красивых белых женщин, стоявших на дороге. Охотник остановился, опустил ружьё и, глупо, по-мальчишески улыбаясь, медленно пошёл к ним, протягивая навстречу заскорузлую ладонь, словно к хозяйке, которая вынесла хлеб.

— Захар! — заорал Верещагин. — Назад!

Он не услышал.

Одна из метелиц плавно, как лебедь, выплыла вперёд и взяла его за руку. Рукав её обернулся вокруг его запястья. Захар засмеялся беззвучно. Метелица, наклонив голову, повела его в круг, и круг раскрылся, и закружился. Женщины скользили, не касаясь земли, одна за другой, всё быстрее, и вместе с ними, смеясь, кружился охотник, спотыкаясь, взмахивая свободной рукой, как в хороводе.

Потом она взяла его за ногу.

Не грубо. Почти ласково. Метелица опустилась на колени, обхватила сапог белыми тонкими пальцами и потянула. Тяжёлый валенок с подковой вышел из снега, как корень из земли, и вместе с ним, с лёгким мокрым хрустом, отделилась нога ниже колена.

Захар не вскрикнул. Он смотрел вниз, и улыбка на его лице медленно, очень медленно, превращалась в недоумение.

— Стреляй! — рявкнул Фёдор.

Грохнуло. Верещагин даже не понял, кто выстрелил первым. Ружьё Фёдора рявкнуло, обдав метелиц облаком чёрного дыма, и из дула вылетел веер ржавых гвоздей. Они вонзились в белое тело ближайшей женщины, и там, где вошёл гвоздь, снег мгновенно чернел и опадал, как тающая корка. Метелица закричала. Тонко, режуще, нечеловечески. Она осыпалась на землю горстью ледяной крошки, и только копыта, чёрные, лаковые, остались стоять в снегу, дымясь.

Верещагин выстрелил из револьвера дважды, почти не целясь. Щёлк, вспышка, отдача в запястье. Гвозди вырвались из ствола огненным облаком. Вторая метелица разлетелась в клочья.

Остальные, не прекращая песни, повернули головы. Улыбки их стали шире. Они не испугались. Они вздохнули, как вздыхают дети, которым не дали игрушку, и все разом хлынули вперёд.

— В круг! — закричал Прокоп. — Спиной к спине!

Они сбились кучей. Белов с вилами, Фёдор с топором, Прокоп с лопатой, и Верещагин посередине, перезаряжая револьвер дрожащими пальцами. Метелицы налетели вихрем. Снег хлестал в лицо, слепил, забивался в рот и в глаза. Ледяные руки хватали за полы тулупов, за пояса, за ноги, и в каждом прикосновении был холод такой силы, что сквозь одежду кожа сразу немела.

Прокоп рубанул лопатой по снежному запястью, и оно отлетело, как сосулька. Белов вилами вогнал в грудь одной метелицы три зубца, и она с визгом раскололась. Фёдор крутился с топором, как дровосек, и каждый его удар сопровождался звоном, словно разбивали хрустальные люстры.

Кто-то вцепился Верещагину в раненую ногу.

Он заорал. Боль была такая, что мир превратился в красное. Он вывернулся и увидел, что вокруг голени, прямо поверх повязки, обвились тонкие, длинные, белые пальцы, и от них на бинтах уже расползался иней. Метелица тянула вниз. Вторая рука её, свободная, уже тянулась к его лицу.

Он прижал дуло револьвера к снежной груди и спустил курок.

Грохот. Вспышка. Метелица распалась на тысячу сверкающих осколков, которые, танцуя, осели на его лицо, на ресницы, на губы, и сразу растаяли горькими, мутными каплями.

Потом стало тихо.

Ветер умер так же внезапно, как родился. Снег медленно оседал. На дороге остались стоять в сугробах чёрные копыта, девять пар, дымясь тонкими струйками пара. А посреди этого круга, на утоптанном снегу, торчали два валенка.

Валенки Захара. Рядом лежало его ружьё.

Самого Захара не было.

Они стояли и смотрели. Потом Фёдор, шатаясь, подошёл и нагнулся. В каждом валенке, он увидел это раньше других, торчала от колена до стопы нога. Целая. Розовая. Аккуратно срезанная чуть ниже колена. И из срезов, густо, ровно, как смола, текла в снег чёрная кровь.

Он сорвал шапку.

— Не крестись, — сказал Прокоп спокойно. — Не поможет. Он ещё жив. Они его не доели.

Он показал лопатой. На снегу, на широком белом листе, ведущем в чащу, лежала тонкая красная полоса. Не кровь. След. Захара волокли. Он ещё скользил, цеплялся, оставляя в снегу борозды от пальцев.

Потом борозды прекращались. Там, где они кончались, снег лежал ровный, гладкий и чистый, как скатерть.

Они пошли по следу.

Белов нашёл обрывок красной ленточки на первом же низком суку, в двух верстах от места, где пропал Захар. Он снял её, как снимают с ветки птенца, и прижал к губам. Больше он ни с кем не заговаривал. Просто пошёл быстрее, и Фёдор, нахмурившись, пошёл за ним, а Прокоп, перекинув лопату на другое плечо, тихо сплюнул.

Верещагин шёл последним. Каждый шаг бил в раненую ногу тупым колом, но он не замедлялся. Он понимал, что если остановится, то уже не сможет начать снова.

Снег здесь был усеян следами. Сначала редкими, потом чаще. Волчьими. Только волчьими, большими, глубокими, как следы быка, и с каждой верстой их становилось больше. К полудню лес поредел, склоны пошли вниз, и впереди открылся овраг, глубокий, узкий, заросший чёрным орешником, как рана, заросшая струпом.

Фёдор поднял руку.

Тишина была такой, что звенело в ушах. Ни ветра, ни птиц, ни шороха. Только скрип снега под ногами. Прокоп кивнул Верещагину и показал пальцем на землю. На снегу, прямо перед ними, лежал след. Волчий. Чёткий, свежий. И шагах в трёх от него, на том же пути, лежал другой: босой, человеческий. И ещё через три шага опять волчий. Они чередовались ровно, как шаги одного существа, меняющего облик на ходу.

Никто не успел ничего сказать.

Он вылетел из орешника без звука, серой молнией, с оскаленными клыками. Белов успел только вскинуть вилы. Зубы сомкнулись на деревянном черенке, и древко хрустнуло, как кость. Потом тяжёлое тело сбило его с ног, и они покатились по снегу, рыча, хрипя, в одном клубке.

Затем из чащи вышли остальные.

Шестеро. Они шли не на четырёх лапах. Они шли, как люди, на двух ногах, горбясь, чуть наклонив вперёд мохнатые тяжёлые тела, и руки их, длинные, узловатые, касались снега когтистыми пальцами. Головы волчьи: узкие, с оскаленными пастями, с жёлтыми, налитыми кровью глазами. Шерсть торчала клочьями.

Но ниже колен у них были человеческие ноги.

Голые. Белые, как рыбье брюхо, с длинными пальцами и синими венами. Босые ступни топтали снег, и каждый шаг оставлял на нём чёткий отпечаток человеческой пятки. Они выгля-

дели так нелепо, так непристойно, что на секунду Верещагин не мог отвести глаз: чудовищная голова, чудовищные когти, и на тонких, женственных, бескровных ногах медленно, осторожно идёт к нему смерть.

Первый выстрел был у Фёдора. Ружьё рявкнуло, и ближайший зверь, получив в грудь заряд ржавых гвоздей, взвыл и кувыркнулся назад. Остальные не остановились. Они бросились двумя волнами.

Верещагин не помнил потом, как всё происходило. Остались обрывки, как у человека, перенёсшего долгую болезнь. Тяжёлое горячее дыхание у лица. Клыки, щёлкнувшие в вершке от горла. Собственный крик и грохот револьвера. Запах псины, гнилого мяса, мочи. Вкус крови на губах: чужой, солёной, с привкусом железа.

Прокоп работал лопатой, как косарь. Ударил плашмя по одной морде, и тварь рухнула, как подрубленная, хватаясь когтистой рукой за разбитую челюсть. Второй удар пришёлся ребром, по шее. Что-то хрустнуло, фыркнуло, обмякло. Он не остановился. Он бил и бил, молча, ровно, с каменным лицом могильщика, которому за двадцать лет привычней закапывать, чем убивать.

Фёдор сцепился с двумя разом. Топор выпал, и он дрался кулаками, ножом, зубами. Рукав его тулупа висел клочьями, из плеча хлестала кровь. Он упал на колени, и на него навалился зверь.

Верещагин выстрелил.

Отдача, вспышка, оглушительный рёв. Пуля, начинённая гвоздями, ударила зверя в бок, и там, где гвоздь вошёл в шерсть, она сразу задымилась. Тварь взвизгнула, соскочила, покатилась по снегу, воя, и вдруг стала меняться.

Это было невыносимо видеть. Шерсть втягивалась в кожу, как будто её втягивали изнутри. Морда осыпалась, как глина: череп сжимался, челюсти уходили назад, клыки крошились в крошки. Хруст костей, мокрый, ровный, как перемалывается в мельнице зерно. Тело съёжилось, уменьшилось, обрело человечьи пропорции. Через несколько секунд на снегу, поджав колени, лежал человек.

Голый. Тощий. Мужчина лет пятидесяти, с широкими скулами и отвисшими усами. На лбу его, ровно, как клеймо, виднелись три тонкие параллельные борозды.

— Сорокин, — сказал Прокоп глухо. Он стоял над телом, опираясь на лопату. — Пастух. Это он.

Верещагин вспомнил разговор у колодца. «У Сорокина-то, пастуха, помнишь, на лбу следы были? Тоже три». Год назад. Овраг. Дело закрыто как «медведь». Тело видели. Ноги срезаны.

Ноги.

Он присмотрелся и увидел то, что раньше не заметил за возбуждением боя. У мёртвого Сорокина ступни были чужие. Тонкие, женственные, белые, с ровными, аккуратными пальцами, с розовыми ногтями. Они не подходили к этому грубому, заросшему телу. Они были пришиты. Или присоединены. Выше щиколоток, по месту соединения, шёл ровный, синевато-багровый рубец, затянутый, как шов на сапоге.

Ему отдали чужие ноги, подумал Верещагин, и его затошнило. Они не убили его. Они его переделали.

Остальные волколаки лежали вокруг, и каждый, умирая, возвращался в человеческий облик. Он насчитал пятерых. Четверо мужчин и одна женщина. У всех на лбу были те же три борозды. У всех были чужие ноги.

Шестой убежал. Верещагин видел, как он, на двух ногах, подволакивая раненую лапу, мчится вверх по склону оврага и исчезает в орешнике. Он не стал стрелять. Патроны кончались.

— Белов, — сказал Фёдор. Голос его дрожал. — Отец Дунин. Белов, ты живой?

Старик лежал на спине, раскинув руки. Левый рукав его тулупа был разорван от плеча до локтя, и сквозь прореху виднелась страшная рваная рана, в которой белела кость. Кровь била толчками, густая, тёмная, заливала снег. Он смотрел в небо ясными, спокойными глазами.

Прокоп без слов перетянул ему плечо ремнём, потом сунул лопату в костёр, который Фёдор, ругаясь, развёл в три секунды из сухих веток, и когда железо раскалилось, молча прижал к ране.

Белов закричал и потерял сознание.

Запах горелого мяса поплыл по оврагу. Верещагин отвернулся. Он слышал, как за спиной Фёдор, тяжело дыша, прошептал:

— Укусили.

— Знаю.

— Если он станет…

— Знаю, — повторил Прокоп. — Тогда я сам.

Он вытер лопату о снег и посмотрел вперёд, туда, где овраг расширялся и уходил в серую холодную даль. Над горизонтом, над дальним лесом, поднимался тонкий, едва заметный дымок. Прямой, как нить, ровный, домашний, мирный дымок печной трубы.

— Выселки, — сказал могильщик.

К выселкам они подошли с подветренной стороны, ползком, по гребню невысокого холма, поросшего ельником.

Белов шёл сам. Он отказался от носилок, которые Фёдор в десять минут сколотил из лапника, и теперь двигался впереди всех, стиснув зубы, белый, как кость, с повисшей на ремне рукой. Кровь пропитала бинты и замёрзла бурым панцирем. Глаза его блестели слишком сильно.

На гребне они залегли.

Перед ними, в неглубокой ложбине, на берегу замёрзшей речушки, стояло семь изб. Низкие, крепкие, с высокими коньками, в точности такие, как в слободе, только старше: брёвна почернели до цвета угля и поросли седым мхом. Из труб над четырьмя из них поднимались ровные нити дыма. В окнах, затянутых бычьими пузырями, жёлто светилось.

Живое жильё. Тёплое. Мирное.

Но Верещагин, приглядевшись, почувствовал, как у него холодеет в животе.

Вокруг выселок шла ограда.

Она была невысокой, по грудь, и состояла из столбов, вкопанных в землю на равном расстоянии друг от друга. Столбы были толстые, ровные, обмотанные по всей длине красной шерстью, и Верещагин сначала принял их за гладкие брёвна. Потом разглядел, что у каждого столба вверху торчит что-то вроде основания: расширение, изгиб, пять тёмных бугорков.

Пальцы.

Столбы были ногами. Человеческими, целиком, от бедра до ступни, поставленными вверх ногами, пятками в небо, а бёдрами в землю. Ступни торчали сверху, как ножки опрокинутых стульев. На каждую были надеты обувки: лапти, сапоги, башмаки, расшитые чуни. И на одних сидели вороны, медленно, степенно клевавшие что-то тёмное.

Между столбами тянулись верёвки, тоже красные, и на верёвках, как сушилось бы бельё, висели, покачиваясь на ветру, цепочки из мелких твёрдых предметов. Верещагин не сразу понял, что это за предметы. Он хотел не понять. Потом ветер повернул одну из цепочек, и в тусклом свете сверкнули ногти. Маленькие, розовые, детские.

Крыши тоже были убраны. На коньках каждой избы, в ряд, как ласточки на проводах, стояли сапоги. Сотни сапог. Пустых и нет. Они тихонько покачивались.

Фёдор лёг лицом в снег и мелко, судорожно задышал.

— Держись, — сказал Прокоп. — Не здесь. Здесь нельзя. — Он подтянул его за ворот к себе и держал так, пока дыхание не выровнялось. — Потом. Потом блеванёшь.

На площади между избами, возле колодца, ходили куры.

Обычные, рябые, пёстрые, толстые зимние куры. Они клевали что-то в снегу. Верещагин присмотрелся к одной из них, и внутри у него всё оборвалось: на куриных лапах у неё были человеческие пальцы. Тонкие, розовые, с ногтями, с мелкими волосками на суставах. Они переступали по снегу, подгибались, цеплялись за наст. Птица оглянулась, и в её круглом золотом глазу не было ничего куриного.

— Как они нас не слышат? — прошептал Белов.

— Слышат, — ответил Прокоп. — Ждут.

Белов поднялся. Он не сказал ничего. Просто встал на колени, потом на ноги, и пошёл вниз по склону, к ограде, не ломая шага, не оглядываясь, не ища укрытия. Он шёл, как идут к дочери, которую хотят взять на руки. Фёдор бросился за ним, схватил за рукав. Белов вырвался. Прокоп вскочил. Верещагин, шипя от боли, потащился следом.

Они спустились к ограде. Ворота были из двух толстых мужских ног, поставленных по обе стороны входа, и перекладины, лежащей поверх, женской, тонкой, в чулке. Белов, не замедляясь, шагнул под неё.

И тут вспыхнул огонь.

Огонь вырвался из-под навеса ближайшей избы, из дровяника, из-под крыльца, из каждого тёмного угла, и вместе с ним выбежали те, кто его нёс. Низкие, вертлявые, ростом не выше мальчишки. Мохнатые. Бородатые. С лицами, похожими на печёные картофелины, с красными жаркими глазами и ртами, полными чёрных зубов. Они бежали на птичьих лапах: тонких, жёстких, чешуйчатых, с кривыми когтями, и на бегу, высоко подпрыгивая, швыряли друг другу пылающие головни, как играют дети мячом.

Овинники.

Первая головня ударила Прокопа в грудь. Тулуп вспыхнул мгновенно. Он завопил, бросил лопату и покатился по снегу, сбивая пламя. Вторая попала Фёдору в плечо. Третья пролетела над головой Верещагина, обожгла ухо, и запахло палёными волосами.

Он выстрелил. Промахнулся. Выстрелил снова. Гвозди разметали одного из овинников в клочья, как мешок с тряпьём, и тот завизжал тонко, пронзительно, как закипающий чайник, и рассыпался искрами. Остальные, не обращая внимания, налетели толпой.

Они лезли на ноги, цеплялись когтями за тулупы, вспрыгивали на плечи, сыпали в рот и в глаза горячие угли. Верещагин оторвал одного от шеи и швырнул в снег, и тварь, шипя, начала там же таять, превращаясь в дымящуюся лужу. Другой вцепился ему в ногу выше повязки. Он ударил рукояткой револьвера, и тот отскочил, хохоча.

Фёдор, весь в копоти, с обожжённым лицом, вертелся с топором, как волчок. Прокоп, поднявшись, двумя руками вогнал лопату в груду пылающих тел, и они посыпались с визгом, как обваренные тараканы.

И тут Белов закричал.

Не от боли. От ужаса. Один из овинников, самый крупный, сидел у него на плече, вцепившись когтями в раненую руку, и смеялся. Но не это было главным. Белов смотрел вперёд, на крыльцо первой избы, на то, что стояло там в дымной белой морозной мгле.

По ступеням, не спеша, спускались люди.

Мужчины. Женщины. Старики и старухи. В белых холщовых рубахах и тёмных овчинных тулупах. С неподвижными, спокойными, благообразными лицами, как у молящихся. Они шли рядом, не толкаясь, не разговаривая, и в такт их шагам, из-под подолов и из-под штанин, раздавался сухой, ровный, жуткий стук.

Цок. Цок. Цок.

Копыта.

У одного были лошадиные: широкие, чёрные, с подковами, на тонких мускулистых бабках. У другого козьи: раздвоенные, острые, с шерстью до колен. У третьей, у дородной женщины в расшитом платке, из-под юбки выглядывали толстые, чешуйчатые птичьи лапы, как у гигантского петуха, и когти звенели по льду. Четвёртый шёл на волчьих. Пятый на медвежьих. Шестая на лягушачьих, перепончатых, мокрых.

Их было около двадцати. И все они улыбались.

Впереди шла старуха. Маленькая, сухая, в белом платке, в чёрной душегрейке. Лицо её, бледное, морщинистое, с тонкими, как нитка, губами, показалось Верещагину страшно знакомым, и только когда она подошла ближе, он понял почему. Он видел это лицо три дня назад, под низко надвинутым платком, в избе за погостом.

То же. Только на двадцать лет моложе.

Но старуха не была Агафьей. У этой, когда она ступила на снег, из-под подола не донеслось ни звука. Только мелькнули босые ступни. Нормальные, человеческие, все десять пальцев.

Она остановилась в пяти шагах от Белова и посмотрела на него светлыми, мутными, молочными глазами.

— Здравствуй, сосед, — сказала она ласково. — Заходи. Невеста ждёт.

Белов не ответил. Он только посмотрел на руку.

Левая, перевязанная, прижатая ремнём к груди, зашевелилась. Под бинтом что-то вздулось, поползло вверх от локтя к плечу, и ткань затрещала. Сквозь рваную прореху пробилась бурая, жёсткая, густая шерсть. Пальцы выгнулись. Ногти почернели, вытянулись, превратились в крючья. Белов зарычал, и звук, вышедший из его горла, не был человеческим.

— Беги, — выдавил он, обернувшись к Верещагину. Глаза его уже желтели. — Беги, барин. Я их задержу.

Он рванулся вперёд.

Это было не бегом, а прыжком. Старик, весь в клочьях тулупа, с одной рукой, обращённой в звериную лапу, ударил в строй копытных, как таран в ворота. Первый, лошадиноногий, не успел поднять руки: когти полоснули его по лицу, и он упал, хрипя, захлёбываясь собственной кровью. Второй, козьеногий, выхватил из-за пояса нож. Белов перехватил запястье зубами. Хруст. Крик. Третий, четвёртый навалились сзади, и на секунду Верещагин увидел только клубок тел, мех, кровь, оскаленные рты, взмахи копыт.

Потом старуха подняла руку.

Все остановились. Мгновенно. Как будто нитки обрезали.

Она произнесла одно слово, тихое и чужое, и копытные расступились. Белов остался на снегу, на четвереньках, в луже собственной и чужой крови. Он тяжело дышал. Из пасти текла пена. Он поднял голову, и в глазах его мелькнуло на миг что-то человеческое, потухающее, прощальное.

Потом она кивнула.

Самый высокий из них, мужчина с волчьими лапами, вышел вперёд и аккуратно, деловито, как мясник, свернул Белову шею.

— Побежали, — сказал Прокоп.

Он не кричал. Он сказал это спокойно, будто звал на работу. Он стоял в воротах, под перекладиной из женской ноги, и держал лопату наперевес. Лицо у него было серое, но абсолютно ясное.

— Фёдор. Барин. В первую избу. Там невеста. Я тут задержу.

— Прокоп… — выдохнул Фёдор.

— Я двадцать лет могилы копал, — сказал могильщик. — Устал. — Он коротко, жёстко улыбнулся. — Сейчас сяду. Они любят, кто сидит. Пока они на меня глядеть будут, вы пройдёте.

И он сел.

Прямо на снег, посреди ворот, лицом к копытным, подобрав под себя одну ногу, а другую вытянув вперёд, на самый свет, как нарочно, как приманку. Положил лопату поперёк колен. Достал из кармана кисет, свернул цигарку, закурил. Руки у него не дрожали.

Происходящее потом Верещагин запомнил всю жизнь. Все двадцать с лишним копытных, как по команде, повернулись к могильщику. Улыбки их стали шире. Они пошли к нему, не быстро, цокая, лязгая, шурша, и воздух над площадью задрожал от низкого, сладострастного, радостного гула, как будто вся нечисть выселок одновременно услышала звон колокольчика, зовущего к столу.

— Бежим! — закричал Фёдор и схватил Верещагина за рукав.

Они бросились через площадь. Бежать было нельзя: нога у Верещагина горела так, что он едва не упал на первом же шаге. Но Фёдор тащил его, а справа от них, в стороне, трещало, хрустело, ухало. Верещагин оглянулся один раз. И увидел, как Прокоп, не вставая, перехватил лопату двумя руками и одним ударом, наотмашь, срезал под корень двоих. Потом третьего. Потом лопату вырвали из рук, и на него хлынула шерстяная, копытная, зубастая масса.

Он не кричал. Он смеялся.

Куры бросились под ноги. Десятки, сотни, с человеческими пальцами на лапах, они лезли под сапоги, цеплялись за валенки розовыми ногтями, клевали щиколотки. Фёдор топтал их, давил, швырял в стороны. Одна вцепилась Верещагину в голень, прямо в повязку, и он, сдавленно воя, ударил её револьвером. Череп птицы хрустнул, и из разбитого клюва выскочила чёрная толстая змея, с зубами, как иглы.

Он выстрелил в неё в упор.

Вход в первую избу был в пяти шагах. Двери не было: проём затянули рядниками, серыми, пыльными, и они колыхались от дыхания изнутри. Фёдор, не останавливаясь, рубанул по ним топором, и ткань с шелестом повалилась.

Из темноты хлынул запах.

Сладкий, густой, как в мясной лавке в жару: запах несвежей крови, мокрой земли, гниющих цветов. Верещагин задохнулся. А потом на пороге, в проёме, в дымной серой тени, возникла она.

Кикимора.

Тонкая. Высокая. Серая, как мышь. Лица у неё не было: только волосы. Длинные, тяжёлые, свисающие до пят, как у утопленницы, и они шевелились, жили, ползли по её плечам, по груди, по рукам, как змеи. В каждой руке она держала веретено. На веретенах намотана была тончайшая пряжа, и пряжа эта была не из шерсти. Из волос. Человеческих. Длинных, русых и чёрных, и седых, тысячи, миллионы, скрученных в бесконечную нить.

Она взмахнула рукой, и нить хлестнула Фёдора по лицу.

Она не оставила следа. Она прошла сквозь кожу, как через воду, и в тот же миг Фёдор застыл. Просто застыл, с поднятым топором, с широко раскрытыми глазами. Нить тянулась от его лба в темноту.

Верещагин выстрелил. Гвозди ударили в серую фигуру и прошли насквозь, не причинив вреда. Кикимора повернула к нему безликую голову. Из-под волос вынырнула рука, длинная, тонкая, и в этой руке тоже было веретено.

Нить полетела ему в глаза.

Он успел только зажмуриться и отвернуться. Нить лизнула ухо, как тонкий ледяной язык, и в голове у него стало тихо-тихо, как в пустой церкви. Он увидел перед собой сад. Дом. Окно с белой занавеской. Женщину в светлом платье. Девочку на крыльце, которая смотрела на него и протягивала руки.

— Папа, — сказала девочка. — Иди ко мне.

Он шагнул.

И тогда он вспомнил про гвоздь. Агафьин гвоздь, обмотанный красной шерстью. Ржавый обломок, что лежал у него в кармане с возвращения из оврага. Он выхватил его из кармана и вонзил себе в ладонь. Боль вспыхнула острая, чистая, ослепительная.

Кровь хлынула на снег. Сад исчез. Остался серый, пыльный, дымный мир, дверной проём и безликая тварь, приближавшаяся к нему с протянутым веретеном.

Он ударил её гвоздём.

Не рукой. Всем телом, с размаха, вогнав обломок в серую голову, туда, где у человека бывает глаз. Кикимора завизжала. Из-под волос, из-под одежд, изо всех складок вырвался чёрный дым. Нить, натянутая между ней и Фёдором, лопнула, как струна рояля.

Фёдор упал на колени, хватая воздух. Топор вывалился из его пальцев. Из носа текла кровь.

— Вставай!

Они ворвались внутрь.

Первая изба оказалась огромной. Не по размерам, а по ощущению: Верещагину показалось, что стены уходят вдаль, как в сне, и потолок поднимается выше, чем позволяла крыша.

Потолок был сплошь увешан обувью. Сапоги, лапти, башмаки, детские коты, женские чулки с вышивкой, мужские онучи, на нитях, на ремешках, на верёвках, они свисали гроздьями, как летучие мыши в пещере, и тихонько, ритмично, едва заметно покачивались. От этого покачивания по комнате шёл тихий, непрерывный скрип. Пахло воском, потом и сладкой тухлой кровью.

Пол был чёрный. Дубовый. Начисто вымытый.

И посередине его, во всю длину избы, лежала плаха.

Это была не такая плаха, как у других порогов. Широкая, как стол, длинная, как могила, вытертая до глянца, чёрная, как смола. Она лежала не на земле, а над ней: оба конца её опирались на каменные подпорки, а между ними, под плахой, зияла яма. Из ямы поднимался красноватый, тёплый, дрожащий свет, как от угасающих углей, и по стенам избы метались большие, шевелящиеся тени.

На плахе сидела Дуня.

В белом платье. В свадебной вуали из паутинного кружева, спадавшей до плеч. В венке из бумажных цветов, таких же, как на мёртвой девушке у границы. Руки её были привязаны красной нитью к балке над головой, высоко, как у висельника. Глаза закрыты. Лицо спокойное, как у спящей.

А ноги её свешивались в яму.

Они качались.

Медленно. Ровно. Вперёд и назад, вперёд и назад, как у ребёнка, сидящего на высоком стуле. Тонкие, босые, белые, они двигались ритмично, без остановки, по собственной воле, и девушка, казалось, не замечала этого.

Над ямой, на цепи, свисавшей с потолочной балки, качалась колыбель.

Деревянная. Тёмная. Не детская: огромная, как корыто, с высокими резными бортиками. Цепь была сделана из мелких костяных звеньев, обмотанных красной шерстью. И каждое звено, как понял Верещагин, было когда-то фалангой человеческого пальца.

Колыбель качалась в такт Дуниным ногам. Туда. Обратно. Туда. Обратно. И с каждым разом, это он видел ясно, дуга раскачивания становилась чуть шире.

В колыбели кто-то лежал.

Он был совсем маленьким, не больше новорождённого, и лежал, завёрнутый в серые тряпки, на спине, подняв ножки. Кожа жёлтая, сморщенная, как у очень старого человека. Череп огромный. Глаза без белков, сплошь чёрные, блестящие, как мокрая галька. Рот растянут

до ушей. Он улыбался. Он смеялся. Беззвучно, широко, радостно, как смеются дети, когда мать подбрасывает их вверх.

Каждый раз, когда колыбель отходила дальше, из ямы, из красного света, доносился нетерпеливый, жадный вздох.

— Девка, — прохрипел Фёдор. — Господи. Она качает.

Он бросился к ней. Верещагин прыгнул следом, хромая, и они оба упали на колени по краям плахи. Фёдор схватил Дуню за щиколотки. Обеими руками, мёртвой хваткой, как хватают вырывающуюся рыбу.

Ноги не остановились.

Они вырывались. Они были сильнее, чем человеческие, в них билась чужая, тугая, упрямая сила, и Фёдор, здоровенный мужик, едва удерживал их. Мышцы вздулись на его шее. По лицу покатился пот. Колыбель дрогнула, замедлилась, но не остановилась.

— Верёвки! — заорал он. — Режь!

Верещагин вытащил из-за пояса нож. Нить, привязывающая руки к балке, была тонкой, красной, обычной. Он полоснул. Лезвие скользнуло по ней, как по гладкому камню, не оставив царапины. Он ударил снова. Тот же результат. Нить была не нитью. Она была живой. Она отдёрнулась, обмотала лезвие и потянула его вверх, к потолку, чуть не вырвав нож из ладони.

И тогда он увидел плаху.

По всей её чёрной глади, от края до края, спиралью, завивавшейся к середине, шли вырезанные в дереве знаки. Он сначала принял их за орнамент. Потом присмотрелся. Буквы. Русские, церковнославянские, старые, с титлами. Имена.

Он читал, не думая, как читают надписи на надгробиях. «Иовъ, 1688». «Савватий, 1718». «Игнатий, 1748». «Варлаамъ, 1778». «Корней, 1808». «Мефодий, 1838». Они шли по кругу, по спирали, год за годом, ровно через тридцать лет. Углублённые борозды были чёрными от времени.

Последнее имя, самое близкое к середине, было вырезано иначе.

Не чёрное, не стёртое. Светлое. Свежее. Буквы были глубокими, острыми, и в канавках ещё лежали мелкие влажные опилки, жёлтые, как будто их вырезали минуту назад.

«Платонъ Ильичъ Верещагинъ. 1868».

Он смотрел на это имя, и мир сужался до размеров этой плахи. Он вспомнил слова Ермила: «Ты, значит, новый». Вспомнил Мефодия во льду. «Они выбрали тебя, потому что ты спрашиваешь». Он не успел ничего сообразить. В ушах стоял ровный гул.

Нож упал из его пальцев.

— Барин! — взвыл Фёдор. — Барин, держи!

Он очнулся. Колыбель уже шла далеко, почти до края ямы. Ещё один взмах, и она вылетит за плаху, и тогда… Он не знал, что тогда. Но хорошо чувствовал это каждой жилкой, каждой костью в раненой ноге.

Он выхватил револьвер.

Цель была в десяти шагах: костяная цепь, соединявшая колыбель с балкой. Тонкая, узкая, длиной в локоть. Верещагин поднял оружие обеими руками. Колыбель качнулась к нему. Он видел страшное жёлтое личико, широко раскрытый рот, чёрные глаза, которые смотрели прямо на него и, как ему казалось, узнавали.

Он выстрелил.

В барабане оставалось два патрона. Первый попал в звено цепи, и оно лопнуло с сухим треском, разбросав осколки фаланг. Колыбель накренилась. Вторая пуля ударила в крепление на балке, и вторая цепь, та, что держала колыбель с другой стороны, не выдержала.

Колыбель упала.

Не в яму. На плаху. Ребром, с грохотом, прямо рядом с Дуней, и покатилась, переворачиваясь, и существо выпало из неё, и поползло по чёрному дереву, быстро-быстро, на четвереньках, на крошечных, тонких, сморщенных руках.

Фёдор отпрянул.

Дуня открыла глаза. Она сразу закричала. Яростно, пронзительно, не от страха, а от боли возвращения. Ноги её, наконец, остановились, и она, рыдая, затрясла ими, пытаясь стряхнуть чужую жизнь.

Существо доползло до края плахи, остановилось и повернуло голову.

Его чёрные глаза нашли Верещагина. И оно, медленно, с трудом, как будто от этого движения у него ломались кости, подняло одну крошечную руку и показало на него пальцем.

Потом оно засмеялось, и теперь смех был слышен.

Это был смех Тимоши. Верещагин ни разу не слышал, как смеётся мальчик, но узнал этот смех мгновенно: детский, тонкий, пугающе взрослый. Он наполнил избу, ударил в потолок, и все сапоги, висевшие на нитях, разом закачались, зазвенели, как колокольчики.

Яма под плахой издала долгий, утробный, страдальческий вой.

Пол дрогнул.

Пол дрогнул второй раз, сильнее. Плаха под ними вздыбилась, как спина зверя, потолочные балки застонали, сверху посыпалась пыль, и висевшие под потолком сапоги забились, загрохотали, срываясь с ниток. Они падали на пол десятками, звонко, глухо, и в каждом, когда он ударялся о доски, что-то хлюпало.

— Уходим! — крикнул Фёдор.

Он перекинул Дуню через плечо, как мешок. Девушка обмякла и перестала кричать, только мелко-мелко дрожала всем телом. Верещагин выдернул обрывок нити, всё ещё висевшей на запястье, и в этот миг почувствовал, что на пороге кто-то стоит.

Она вошла так тихо, что он не слышал шагов. Маленькая, сухая, в белом платке. Старуха из выселок. Лицо Агафьи, только моложе. Босые ступни ступали по чёрным доскам без звука.

Она остановилась и оглядела избу: упавшую колыбель, дрожащую плаху, сапоги на полу. Потом перевела взгляд на жёлтое сморщенное существо, замершее у края ямы, и в её глазах появилось выражение, которого Верещагин не ожидал. Усталость. Горе. Какая-то нежность.

— Что же вы наделали, — сказала она тихо. — Он теперь не заснёт.

— Отойдите, — сказал Верещагин, поднимая пустой револьвер.

Она даже не взглянула на него.

— Вы думаете, мы злые? Мы кормим, чтобы они спали. Тридцать лет тихо было. Тридцать лет ваши дети жили, женились, рожали. За одну невесту. За одну. А вы пришли. — Она покачала головой. — Теперь он будет качаться сам.

Существо у края плахи повернуло к ней крошечное жёлтое лицо и издало тонкий, жалобный, скулящий звук.

— Мама?

Голос был детский, хриплый, ломающийся, и в нём звучали одновременно десятки голосов: мужских, женских, старческих, младенческих.

Старуха закрыла лицо руками.

Фёдор не стал ждать. Он ударил плечом в стену за плахой, туда, где не было ни окон, ни двери. Топор, который он держал в свободной руке, вошёл в дерево со звоном, как в кость. Он рубил, не останавливаясь, как одержимый, и бревна поддавались, трещали, летела щепа, и через минуту в стене зияла рваная дыра, в которую тянуло ледяным ветром и белым светом дня.

— Лезь!

Верещагин, прихрамывая, шагнул в пролом. Фёдор передал ему Дуню и выскочил следом. Позади, в избе, раздался вой. Пол прогнулся и лопнул, и из ямы, из красного света, полезли руки. Десятки. Сотни. Бескостные, бледные, с длинными пальцами.

Они бежали.

Задний двор выселок спускался к замёрзшей речке. Снег здесь был глубокий, нетронутый, и ноги проваливались до колена. Верещагин не чувствовал уже ни боли, ни усталости, только горячую, гулкую пустоту в груди. Он нёс Дуню на руках, потому что Фёдор потерял в драке тулуп и дрожал, как в лихорадке. Девушка была лёгкой и тёплой. Дыхание её щекотало ему шею.

— Папа? — шептала она. — Папа?

Он не отвечал.

За спиной взвыли.

Сначала один голос, потом десять, потом вся стая. Перекликающийся, жуткий, торжествующий вой, от которого мороз полз по коже. Верещагин оглянулся на бегу. Из-за последних изб выселок, по их следам, по ровной белой целине неслись они: волколаки, на двух ногах и на четырёх, скачками, в тучах серебряной пыли. За ними ковыляли лошадиноногие. Козьеногие. Куры с человеческими пальцами. Старик с петушиными лапами, быстрый, как собака. И впереди всех, не касаясь ногами снега, плыла старуха в белом платке.

У неё в руке была лопата Прокопа.

Верещагин не стал разглядывать, что на ней.

— Быстрее! — рычал Фёдор. — К границе! К сидельцам!

Они бежали вдоль реки, потом через лес, потом через поле, где снег лежал плотной коркой, и под ногами хрустел, как битое стекло. Дыхание рвало горло. Сердце колотилось так, что казалось, оно сейчас пробьёт рёбра. Сумерки сгущались быстро, прозрачные, синие, холодные, и в этих сумерках стая настигала. Она была уже в двадцати шагах. В пятнадцати. В десяти. Верещагин чувствовал на затылке горячее дыхание.

И тогда они увидели границу.

Цепочка белых бугров на горизонте, неподвижных, как межевые знаки. Сидельцы. Тысяча замёрзших людей, обращённых лицами к слободе.

— Прыгай! — заорал Фёдор.

Они перелетели через черту.

Упали в снег, покатились, ударились о чьи-то колени. Верещагин лежал, прижимая к себе Дуню, и слышал, как позади, на расстоянии вытянутой руки, останавливаются, скользя, хрипя, рыча, десятки ног.

Они стояли на границе.

Волколаки скалили зубы. Козьеногие били копытами. Старик с петушиными лапами подпрыгивал на месте и каркал. Они не могли перейти. Верещагин видел это: невидимая линия, проведённая по снегу сотнями сидящих тел, не пускала их дальше.

А сидельцы, он повернул голову и увидел это своими глазами, подняли головы.

Они смотрели. Все, как один, замёрзшие, окаменевшие, с белыми глазами. Не на людей, упавших у их колен. На нечисть. И в этих глазах, пустых и тусклых, горела такая ярость, что даже вожак стаи отшатнулся.

Старуха в белом платке подошла к самой границе. Остановилась. Посмотрела на Верещагина долгим светлым взглядом.

— До срока двадцать один, — сказала она. — Не успеешь, придём сами.

И повернулась, и пошла обратно, ровно, неторопливо, и вся стая, не оглядываясь, потянулась за ней в сумеречную белую даль.

Их встретили у ворот слободы с огнями.

Лапин стоял впереди. Староста. Без шапки, с красными глазами, с ножом в руке. Но нож был не для чужих. Он держал его у горла, остриём к собственной шее, и рука у него дрожала так, что на коже уже выступила тонкая алая нить.

Фёдор, не говоря ни слова, подошёл к отцу и поднял топор.

Никто не пошевелился. Только Верещагин, опустив Дуню на снег, шагнул вперёд и встал между ними, опираясь на палку, с чёрным от копоти лицом, с рассечённой бровью.

— Каждый срок, — сказал Лапин. Голос его был ровным и мёртвым. — Через тридцать лет. Невеста. Из слободы. Выбирает Меланья. Я знал неделю. Я знал, что в этот раз выберут Дуню Белову. Я молчал. Я думал: пусть Дуню, пусть одну, зато остальные… — Он вдруг осёкся и зажмурился. — Прокоп?

— Остался, — сказал Фёдор. — Сел. Нарочно.

— Белов?

— Свернули шею.

Лапин кивнул. Он будто ждал этого. Он медленно опустил нож, и тот упал в снег, не звякнув.

— Бей, — сказал он сыну.

Фёдор стоял с поднятым топором. Лицо его дрожало, как вода. По щеке катилась слеза, смешанная с кровью и сажей. Он стоял долго. Очень долго. Потом, не размахнувшись, не ударив, с хриплым, надрывным звуком, как человек, которого рвёт, он швырнул топор в сугроб и закрыл лицо ладонями.

Из тьмы, от колокольни, ударил колокол.

Один раз.

Слобода села.

Верещагин, уже теряя сознание, опустился на колени рядом с Дуней и услышал под собой знакомый голос, ровный, безликий, читающий по бумаге.

Но на этот раз он обращался не к нему.

— Двадцать, — сказал голос, обращаясь к Лапину. — До порога.

Глава 8. Третья смерть

Девятнадцать.

Он проснулся с этим словом во рту, как просыпаются с привкусом железа. Серый свет едва пробивался сквозь мешковину. Пол под спиной был влажный, холодный, и по доскам, как по телу больного, пробегала мелкая, частая дрожь.

Изба спала плохо. Верещагин лежал и слушал: тихие стоны, бормотание, скрип зубов. Фёдорова жена укачивала ребёнка, не открывая глаз. Нюша во сне сучила ножками. На печи, под овчиной, неподвижно, как мёртвый, лежал Ермил.

Дуню положили у печного столба, на лавку, укрыв тулупом до подбородка. Рядом на корточках сидела её мать, Арина, чёрная, высохшая, с белой, как мел, прядью у виска. Она сидела так со вчерашнего вечера. Она не плакала по мужу. Она держала дочь за обе щиколотки, крепко, обеими руками, и смотрела вперёд пустым ровным взглядом человека, которому больше не о чем спрашивать.

Ноги Дуни не останавливались.

Они двигались под тулупом: вперёд и назад, вперёд и назад, мелко, упрямо, как у ребёнка, что качает ногами на высоком стуле. Арина держала их, и пальцы её побелели, но ступни всё равно вырывались, бились в её ладонях, как пойманные птицы. Дуня спала. Или не спала. Глаза её были приоткрыты, губы шевелились.

Верещагин сел. Нога под повязкой горела, но терпимо. Нитей не было. Пока не было.

— Не уходят, — тихо сказала Арина. Она не обернулась. — Всю ночь. Агафья сказала, пройдёт. А вот не проходит.

Он хотел сказать что-нибудь. Он ничего не сказал.

Фёдор стоял у окна. Он не спал вовсе. Лицо его осунулось, как после тяжёлой болезни, под глазами залегли серые пятна, на рассечённой скуле запеклась кровь. В руке он держал топор.

— Идите сюда, барин, — позвал он вполголоса.

Верещагин подошёл и посмотрел во двор.

На улице, перед воротами, плотной молчаливой стеной стояли люди.

Они пришли тихо, как приходят на похороны: без криков, без шума, без факелов. Мужики в тулупах, бабы в тёмных платках, подростки, старики. Человек сто, не меньше. Они стояли, не двигаясь, и каждый, Верещагин видел это ясно, стоял, подобрав одну ногу под себя, а другой упираясь в снег. Готовые в любую секунду сломать шаг.

В первом ряду были Матрёна Рябова с белой прядью у виска. Фёкла Нечаева с тремя детьми. Старик Белов-старший, брат убитого. Беловская родня. Рябовская. Дарьины сёстры.

Они смотрели на дом.

— С ночи стоят, — сказал Фёдор. — Как узнали. Кто-то рассказал. Не отец. Не я. Может, Арина. Может, Фёкла, она всё слышит. — Он сглотнул. — Они знали, барин. Старики знали. Каждая вторая бабка в этой слободе знала про невесту. Они молчали тридцать лет. А теперь…

Он не договорил.

На крыльце, у самого порога, сидел отец.

Лапин встал раньше всех. Он помылся, расчесал бороду, надел белую чистую рубаху, ту самую, что хранилась в сундуке на венчание и на похороны. Сапог на нём не было. Он сидел на нижней ступеньке крыльца, босой, сложив руки на коленях, и смотрел на толпу спокойным, усталым, почти умиротворённым взглядом.

Как человек, который уже всё решил.

— Сидор Кузьмич, — позвал Верещагин.

— Не надо, барин. — Лапин не повернул головы. — Я знал, что утром придут. Я их ждал. Пусть скажут.

Никто не скажет, подумал Верещагин. Они только смотрят.

Но тут из избы вышла Арина.

Она появилась за спиной у него, неслышно, и когда он обернулся, она уже стояла в дверях, прямая, как свеча, и смотрела на мужчину на крыльце. Лицо её было каменным. В руке она держала не нож и не топор. Она держала красную нитку, длинную, свёрнутую в кольцо.

Она вышла на крыльцо и остановилась перед старостой.

Потом наклонилась и, не говоря ни слова, обвязала нитку вокруг его правой щиколотки.

Это было страшнее любого крика. Верещагин видел, как по толпе прошла волна, как люди, не двигаясь, разом выдохнули. Арина затянула узел, выпрямилась и сказала тихо, но так, что услышали на улице:

— Сними сам, Сидор. Если сможешь.

Лапин усмехнулся одним краем рта. Не зло. Горько.

Он понял.

Это была не угроза и не просьба. Это был обряд. Красная нитка на щиколотке: знак того, кого ведут. Кого выбрали. Кого отдают.

Слобода собралась на суд.

Их было не меньше ста пятидесяти, и они стояли молча, почти час, а потом начали говорить.

Не криком. Не воем. Первой подала голос Матрёна Рябова. Она вышла вперёд, к самому крыльцу, и остановилась в трёх шагах от старосты. Белая прядь у виска шевелилась на ветру, как живая. Она заговорила ровным, спокойным, ласковым голосом, каким говорила с мёртвым сыном.

— Тридцать лет, — сказала она. — А я не знала. Пока не отдали мне Степу. Тридцать лет мне говорили: всё хорошо, Матрёнушка, всё тихо. А сестрёнку мою, Аннушку, в тридцать восьмом году… — Она запнулась. — Мне десять лет было, Сидор Кузьмич. В белом платье увели. Матушка сказала: ушла к тётке в Самару. Я ждала.

Лапин не шевелился.

— Я до сих пор жду, — сказала Матрёна. И улыбнулась.

Старик Белов-старший шагнул вперёд следом за нею. Белая борода, беззубый рот. Он ничего не сказал: только плюнул под ноги Лапину, и плевок застыл на снегу жёлтой кляксой.

Потом заговорили все.

Это не был гвалт. Толпа не орала и не кидалась. Они говорили по одному, отрывисто, глухо, как вбивают гвозди. «Моя Прасковья», «в пятьдесят втором, весной», «трое их было, матушка рассказывала», «Агаша, ты же знала, ты же пеленала», «никто не вернулся». С каждым словом, с каждым именем толпа теснее сдвигалась к крыльцу, и Верещагин слышал, как скрипит под их ногами снег, чувствовал на себе, как жар, это общее, тяжёлое, плохо сдерживаемое дыхание.

И вдруг понял: они не знали.

Не все. Не так. Старухи знали, да. Лапин, да. Белов-старший. Но молодые, но вдовы, но матери, нет. Для них «ушла к тётке» была правдой. Им годами отдавали эту маленькую удобную ложь, чтобы они спали по ночам. А теперь ложь лопнула, и под ней обнаружилась яма, где лежали все те девушки, которых они не искали.

От этого стало намного страшнее, чем от ножей и топоров.

Первый камень полетел из задних рядов.

Он ударил Лапина в плечо. Староста качнулся, но не поднял руки. На белой рубахе проступило красное пятно. Потом второй камень, в грудь. Потом комок мёрзлой земли в лицо.

— Стойте! — рявкнул Верещагин.

Он выскочил на крыльцо, встал между толпой и стариком, вытащил револьвер и выстрелил в воздух. Гвоздь, не пуля. В последнем патроне, который он берёг, был ржавый подковный гвоздь, и он разорвался над головами с хлопком, как петарда, осыпав людей железной трухой.

Толпа замерла.

— Именем закона! — крикнул он, и сам услышал, как фальшиво это звучит. — Я судебный следователь! Я требую расходиться!

Никто не засмеялся. Никто не усмехнулся. На него смотрели сто пятьдесят пар глаз, спокойных, пустых, равнодушных. В них не было вызова. Только бездонная усталость.

— Закон далеко, барин, — сказала Фёкла Нечаева. Она не повысила голоса. — А порог рядом.

Она взяла за руку старшего сына и поставила его рядом с собой. Мальчик смотрел на Верещагина серьёзно, как взрослый.

Верещагин опустил револьвер.

В этот миг в окне, за его спиной, раздался стук.

Он обернулся. Это стучала Дуня. Она проснулась, или не проснулась, и сидела на лавке, свесив ноги, и они двигались. Быстро, быстро, нервно, как ноги плясуна, не слышащего музыки. Она стучала пятками по бревенчатой стене, раз за разом, раз за разом, и лицо её, бледное, залитое слезами, было обращено к окну с выражением тихого, беспомощного ужаса.

— Качает! — взвизгнула какая-то баба.

И толпа рванулась.

Вот тогда, наконец, закричали все. Крик поднялся единым, рваным, пронзительным воплем: «Качает! Она зовёт! Она их зовёт!» Люди бросились к избе, налегли на дверь, на ставни, на плетень, и Фёдор, стоявший у входа с топором, закричал, и топор в его руках описал дугу, и кто-то упал, и кто-то заорал по-звериному. Арина, мать, повисла на косяке, отбиваясь ногтями и зубами. Нюша визжала где-то в избе. Дарья в дверях кого-то царапала.

Верещагин не успел поднять руку.

— Стойте.

Голос был негромким. Но он перекрыл крик, как нож перекрывает верёвку. Все замерли. Даже те, кто уже занёс кулаки. Даже Фёдор.

Лапин встал.

Он поднялся со ступеньки медленно, тяжело, держась за перила. Белая рубаха на нём была мокрой от крови. Лицо серое, с запавшими щеками, но голос его, когда он заговорил снова, был ровным, твёрдым, каким бывал на сходах, когда он решал спорный надел.

— Я староста, — сказал он. — Я отдал. Я и верну.

Он повернулся к собственной двери.

Порог в доме Лапиных был старый, дубовый, широкий, вытертый поколениями. Тот самый, на который в ночь перед выселками сел восьмилетний мальчик и просидел до рассвета. Лапин подошёл к нему босыми ногами и остановился.

Потом, очень медленно, повернулся спиной к избе, лицом к толпе, и опустился на плаху.

Он сел. Ногами наружу. Свесив их по ту сторону порога, над утоптанным снегом двора, как садятся на крыльцо в тёплый летний вечер.

— Берите, — сказал он. — Меня берите. Её не троньте.

Кто-то ахнул. Толпа попятилась.

Агафья, сидевшая в самом конце, у плетня, поднялась на ноги. Она подошла неспешно, как подходила к роженице, и положила руку на плечо Верещагину, который уже шагнул вперёд.

— Пусть, — тихо сказала она.

— Он умрёт.

— Он давно мёртв. — Её белые глаза не мигали. — Он пять лет по ночам не спал. Я знаю. Пусть хоть один раз сделает то, чего хотел.

Лапин поднял голову и посмотрел на сына.

— Дарью береги, — сказал он. — Ермила. Нюшу.

Фёдор стоял, не выпуская топора. Он что-то хотел сказать. У него дёргалась щека.

Лапин улыбнулся, коротко, виновато, как улыбаются перед тем, как сказать «прости», и начал качать ногами.

Он качал ногами, и слобода смотрела.

Сначала ничего не происходило. Только скрипела под ним плаха, мерно, глухо, как скрипят качели в пустом саду. Лапин сидел прямой, сильный, с широко раскрытыми глазами, обращёнными куда-то поверх голов. Он тихонько, без слов, мурлыкал песню. Верещагин не знал какую: протяжную, степную, бесконечную. Ноги его, босые, жилистые, с красной ниткой на правой щиколотке, качались над снегом, раз, два, раз, два.

Потом снег под ними начал темнеть.

Он темнел кругами, как темнеет вода, когда в неё бросают камень. Двор под порогом, утоптанный до льда, вздохнул, и от него пошёл пар. Тонкий, прозрачный, тёплый. Люди невольно подались назад. Над досками плахи задрожал воздух. Мурлыканье старосты смолкло.

Прошло ещё полминуты.

И тогда плаха заговорила.

Не скрипом. Низко, из самой глубины, как вздыхает больной ребёнок: «О-о-ох». Звук покатился под ногами у всех, и Верещагин почувствовал его пятками, коленями, зубами. Земля под слободой услышала, что ей предлагают.

Она не торопилась. Она знала, что сегодня её никто не прогонит.

Дерево порога стало мягким.

Он увидел это первым, потому что стоял ближе всех: чёрная, мореная, окаменелая дубовая плаха расползалась, как воск на огне, и в ней, вокруг ступней Лапина, образовывались ямки. Они росли. Они глотали пальцы. Лапин дёрнулся, будто хотел выдернуть ногу, но остановил себя. Лицо его побелело. По лбу катился пот.

— Дарья, — сказал он тихо. — Прости.

Жена стояла в дверях, прямая, как кол, и не отвечала. Она только смотрела. Руки её висели вдоль тела.

Плаха поползла выше. Теперь она поглотила щиколотки. Верещагин слышал, как хрустнули кости: сухо, отчётливо, как хрустит под сапогом ледок. Лапин шумно выдохнул. Он не закричал. На белой рубахе, на груди, расплывалось красное: толчок за толчком, как будто что-то внутри лопалось и текло.

— Фёдор, — сказал он.

— Я тут, батя.

— Староста теперь ты. Не бойся.

Фёдор стоял, уронив топор. Лицо его, мокрое, безобразное, дёргалось. Он что-то выговаривал одними губами и не мог выговорить.

Плаха поднималась.

Колени. Бёдра. Это было не быстро и не медленно: как прилив, как воздух в лёгких, как неотвратимая весна. Дерево обволакивало его, облизывало, втягивало в себя, и вокруг него по доскам, между волокон, сочилась кровь. Не лужей. Тонкими ручейками, как сок из берёзы. Она не капала на снег. Она уходила вниз, вглубь, в щели, и щели жадно пили.

— Сидор! — раздался хриплый крик из избы.

Ермил.

Он сидел на печи, и лицо его было искажено такой мукой, что смотреть было невозможно. Он тянул к двери руки. Он не мог слезть. Не мог сделать ни шага.

— Брат! Сидор! Не надо! Он обманет! Он не берёт, он ест!

— Я знаю, Ермилушка, — отозвался Лапин. Голос его стал слабым, далёким, как из глубокого колодца. — Прости. Я должен.

Плаха дошла до пояса.

Он стиснул зубы так, что на скулах вздулись желваки. Из носа и из уголка рта потекла тонкая алая нить. Руки его вцепились в края плахи, и пальцы, Верещагин видел это, ломались. Один за другим, с коротким сухим треском, как ломают сучья. Он не отпускал.

Он поднял глаза. Нашёл взглядом Арину.

— Дунька, — прохрипел он. — Живи.

Арина не двинулась с места. Она стояла у косяка и смотрела на него, не мигая. Потом медленно, как во сне, кивнула.

Плаха поглотила грудь.

Он дышал уже с трудом, мелко, часто, как загнанная лошадь. Грудная клетка его хрустела, сминалась, втягивалась в чёрное мягкое дерево. Из рубахи вылезали рёбра. Он закашлялся, и на губах вскипела розовая пена.

И в этот момент Верещагин увидел то, что запомнил на всю жизнь. Лапин улыбнулся. Он смотрел на небо, на серое, низкое, зимнее небо, и лицо его разгладилось, помолодело, стало почти красивым, как лицо человека, который наконец-то выспался.

Потом он ушёл.

Подбородок. Губы. Нос. Широко раскрытые, ясные, счастливые глаза. Серые волосы с седыми прядями. Плаха сомкнулась над ним с мягким, довольным, всхлипывающим «глюп», как смыкается вода над брошенным камнем.

На том месте, где только что сидел человек, остался лишь чёрный дубовый порог, обычный, твёрдый, влажный от крови. И на нём, аккуратно сложенная, как складывают бельё на лавке, лежала белая рубаха. Пустая. Чистая. Только на груди расплывалось тёмное пятно.

Никто не двигался.

Потом из толпы тихо, судорожно, надрывно вздохнули. Это был не плач. Это был общий, огромный, постыдный выдох облегчения. Мужики опускали глаза. Бабы крестились, и руки у них дрожали. Старик Белов-старший сорвал шапку и закрыл ею лицо.

Фёдор упал на колени. Он не плакал. Он опустил голову и смотрел на плаху. Дарья вышла на крыльцо, подняла рубаху, прижала к лицу, постояла и вернулась в избу, не сказав ни слова. На печи, стеная и воя, бился Ермил.

Агафья перекрестила порог пальцем левой руки, наоборот, справа налево.

— Теперь тихо, — сказала она. — До ночи.

Верещагин стоял, прижимая к груди пустой револьвер, и смотрел, как слобода тихо, молча, не глядя друг на друга, разбредается по домам. Он чувствовал себя так, как не чувствовал никогда в жизни: грязным. Неотмытым. Соучастником.

Потому что, пока Лапин тонул, он не сделал ни шага.

Пол под крыльцом едва слышно, удовлетворённо вздохнул, и тот же ровный, безликий, бесконечно терпеливый голос, чуть тише, чем обычно, произнёс:

— Пятнадцать.

Он понял: каждая смерть отнимает по четыре.

День прошёл в вязкой, тошнотворной тишине.

Слобода не хоронила Лапина: хоронить было нечего. Никто не вышел на улицу без нужды. Люди ходили, ломая шаг, не глядя друг другу в лица, и когда сталкивались у колодца,

отводили глаза, как отводят их соучастники. Они знали, что сегодня облегчение, а завтра будет стыд. Они не хотели дожидаться завтра.

Верещагин сидел в горнице на низком чурбаке и смотрел, как Агафья возится с Дуней.

Девушку усадили на пол, на подстилку из еловых лап. Ноги её, обнажённые до колен, поставили в большую деревянную бадью, в которую Агафья насыпала золы и воткнула, остриями вверх, десятка два подковных гвоздей. Лодыжки обвязали красной нитью, а нить намотали на кол, вбитый в пол. Арина и Дарья держали Дуню за плечи.

Ноги всё равно двигались.

Они били в золу, подпрыгивали, пытались выдернуться из бадьи. Гвозди вонзались в кожу, и на белой коже пробивалась кровь, смешивалась с золой, превращалась в серую липкую кашу. Дуня закусила кулак. С прокушенных пальцев капала на подол слюна, смешанная с кровью.

— Не надо, — шептала она. — Не надо. Они хотят. Они всё время хотят.

— Чего хотят? — спросил Верещагин.

— Идти. Туда. — Она подняла на него глаза, огромные, чёрные, с расширенными зрачками. — Они знают дорогу. Они меня несут. А я сижу и смотрю, как они меня несут. Я не могу остановить. Я их не чувствую, барин. Я их вижу, как чужие. Но они двигаются.

Агафья молча качала головой, растирая золу в пальцах.

— Пройдёт?

— Нет, — сказала она без утайки. — Не пройдёт. Меланья надела их глубоко. До кости. До самого корня. Я знаю этот шов. Сама такой видела.

Она говорила спокойно, как о погоде, и Верещагин вдруг поймал себя на том, что не хочет знать, откуда.

В дверях горницы послышался шорох. Он обернулся.

Тимоша стоял, держась за косяк. Он был ещё бледнее, чем накануне, почти прозрачный. Седые волосы падали на лоб. Под глазами лежали синие тени, как синяки. Босые ступни, замотанные тряпками, ступали по доскам тихо, осторожно, будто он шёл по битому стеклу.

Агафья вздрогнула.

— Не смей, — сказала она. — Не сегодня. Ты кровью изойдёшь.

Мальчик не ответил. Он подошёл к бадье, опустился на колени и положил обе ладони на Дунины лодыжки.

Ноги дёрнулись. Раз. Другой. Потом, медленно, как дикая лошадь, которую гладят по храпу, затихли. Кровь перестала течь. Гвозди, торчавшие из золы, чуть наклонились в стороны, словно из-под них что-то отодвигалось.

Дуня вздохнула. Из глаз её хлынули слёзы, но это были не слёзы боли. Она закрыла глаза и уснула, привалившись к материнскому плечу.

Тимоша не отнимал рук.

Из носа у него потекла тонкая струйка. Он вытер её запястьем и тихо, сквозь зубы, сказал, не глядя ни на кого:

— Они просятся домой.

— Чьи? — спросила Арина.

— Не Дунины. Чьи-то. Старые. Они очень устали. — Он закашлялся. — Они ничего не сделают. Только хотят к кому-то. К кому-то, кто их ждёт.

— К кому? — прошептала Арина.

Мальчик не ответил. Он поднял голову и посмотрел на Верещагина.

— Сегодня придёт тятя, — сказал он.

— Чей?

— Фролов. И Степин. И другие. — Он говорил медленно, взвешивая каждое слово, как нищий последние монеты. — Они придут по-настоящему. На ногах. Они придут к тем, кто зовёт. Не открывайте. Не отвечайте. Что бы ни говорили. Они очень хорошо говорят.

Он покачнулся. Агафья подхватила его, прижала к себе, и Верещагин увидел, как её сухие руки, много лет не знавшие нежности, гладят белые, как лён, волосы.

— Спи, — сказала она. — Спи, дитятко. Ночь будет тяжёлая.

Колокол ударил в сумерках, и слобода села.

В этот раз Верещагин не лёг. Он сидел у двери на полу, спиной к косяку, с револьвером на коленях, и рядом с ним, так же, с топором, сидел Фёдор. Они не говорили. Изба дышала у них за спинами: Дарья с детьми на печи, Арина с Дуней в бадье, Ермил в своём углу. Ночь пока была тихой.

Потом, часа в два, кто-то пошёл по улице.

Это были не те шаги, которые они слышали раньше. Не мягкие, не крадущиеся, не ломаные. Шаги шли ровно. Тяжело. Уверенно. Как идёт домой с работы здоровый сильный мужик, которому нечего бояться: топ, топ, топ, пятка, носок, пятка, носок. Хруст снега под сапогами. Звон подков.

Не один. Двое.

Фёдор глянул в щель между ставнями.

Луна стояла высоко, ясная, холодная, и вся слобода лежала в голубом снежном свете, как под стеклом. Посреди улицы, не торопясь, рядом, плечом к плечу, шли два человека. Один постарше, широкоплечий, в добротном тулупе, с бородой лопатой. Другой молодой, лёгкий, в белой праздничной рубахе с красной вышивкой по вороту.

Фрол и Степан.

Они разговаривали. Верещагин слышал голоса, негромкие, дружеские, тёплые: двое соседей, возвращающихся с посиделок. Степан смеялся. Звонко, по-мальчишески, как смеялся, должно быть, при жизни. Фрол что-то говорил в ответ, степенно, с хозяйской ленцой.

Они шли на собственных ногах.

Ноги были целыми. Верещагин хорошо видел это в лунном свете: добротные сапоги на Фроловых ногах и босые ступни на Степановых, чёткие, чистые, безупречные. Они шагали, как живые. Они не ломали шаг, потому что им не нужно было ломать. Земля их слышала, узнавала и принимала, как принимают своих.

— Это они, — выдохнул Фёдор. — Тимоша сказал.

Мужики остановились перед домом Нечаевых.

Фрол постучал.

Он постучал так, как стучат в родной дом поздним вечером: три коротких, потом два долгих. Верещагин отчётливо слышал этот стук, потому что в слободе давно стояла такая тишина, что слышно было, как под снегом растёт трава.

— Феклуша, — позвал Фрол. Голос был тихий, ласковый, чуть хрипловатый от мороза. — Феклуша, открой, замёрз.

— Не отвечай, — прошептал Фёдор. Не Фёкле. Себе.

В окне Нечаевых зажёгся свет.

Единственная свеча на всю слободу. Верещагин не успел разглядеть за ставнями фигуру, но услышал: тонкий, срывающийся вскрик, потом шорох, потом мягкие быстрые шаги по полу.

— Тятя? — послышался детский голос, высокий, испуганный. Это был старший, двенадцатилетний, Игнат. — Тятя, это ты?

— Я, Игнатка, — сказал Фрол. — Я. Открой отцу. Холодно.

— Мам… — Мальчик заплакал. — Мам, это не он. Это не тятя. Я слышал, как он поёт.

— Сынок, — голос Фрола стал мягким, обиженным, горьким, голосом человека, которого не узнают. — Ты что? Ты отца не узнаёшь? Мы же с тобой на Покров зайцев в силки ставили. Помнишь, как ты упал в канаву? Я вытащил, на руках нёс. Ты ещё плакал, что сапог потерял.

За ставней стало тихо.

Это была самая страшная тишина, какую Верещагин слышал за всю неделю. Он видел, как у Фёдора побелели костяшки пальцев, сжимавших топор.

— Феклуша, — сказал Фрол. — Выйди. Взгляни. На левой ноге, над щиколоткой. Родимое. Как ягодка.

И Фёкла вскрикнула.

Дверь распахнулась.

Она бросилась на крыльцо, без платка, в одной рубахе, босая, с распущенными волосами, и остановилась у порога. Верещагин видел её лицо в лунном свете: оно было мокрое, светлое, безумное, перекошенное такой радостью, что на него страшно было смотреть.

Фрол стоял перед ней. Он широко улыбался. Он раскрыл руки, как раскрывают, встречая жену после долгой дороги.

— Не пускай! — закричал Игнат из-за её спины. — Мама, не пускай! Не пускай!

Она не слышала.

Она шагнула к мужу, и Верещагин понял, что если это случится, то случится прямо сейчас. Он вскочил. Рванул дверь. Фёдор был уже снаружи: огромный, страшный, с топором наперевес, и они оба, не ломая шага, не думая о правилах, рванулись через улицу.

Фрол обернулся на топот.

Улыбка не сошла с его лица. Он только чуть склонил голову набок, как слушают далёкую песню.

— Здравствуй, Федя, — сказал он спокойно. — Что ж ты в ночь шумишь? Людей напугаешь.

Фёдор не ответил. Он размахнулся и с выдохом, с криком, с воплем, вкладывая в удар всю ненависть, всю вину, весь вчерашний день, всадил топор Фролу в грудь.

Топор вошёл по самый обух, с мокрым, глухим, хрустящим звуком. Фёкла заорала. Фрол, не изменившись в лице, посмотрел вниз, на торчавшую из груди рукоять, и в его глазах мелькнуло лёгкое, детское удивление.

— Ну вот, — сказал он тихо. — Зачем?

И пошёл вперёд.

Он шёл, не пошатываясь, не хватаясь за рану, с топором в груди, и ноги его, Верещагин видел это ясно, ступали ровно, сильно, быстро, как у человека, спешащего к ужину. Он шёл на Фёклу. Она стояла, прижав кулаки к губам, и не двигалась.

— Феклуша… — говорил Фрол. — Феклуша, ты что? Это я.

Верещагин вскинул револьвер. Он не метился в лицо: он вообще не мог смотреть в это лицо. Он целился ниже. В колени. Туда, где кончалась ткань штанов и начиналось то, что держало на земле этого страшного мертвеца.

Первый выстрел разнёс Фролу левое колено.

Гвозди, раскалённые порохом, вонзились в плоть и в кость, и нога подломилась. Но не упала. Она дёрнулась в сторону, потом выпрямилась, и колено, раздробленное, черно-красное, начало на глазах срастаться, как срастается вода после брошенного камня.

Второй выстрел. Правое.

То же самое.

Фрол смеялся. Тихо, ласково, весело.

— Не надо, барин, — говорил он, продолжая идти. — Не стреляйте в меня. Мне нельзя. Я свой.

И тут Фёдор, оправившись, подскочил сбоку и, не крича, не размахиваясь, выдернул топор из груди мертвеца и одним косым, страшным ударом рубанул по правой ноге. Над коленом.

Нога отлетела.

И побежала.

Верещагин не сразу понял, что видит. Отрубленная нога, голая, ровная, белая, в добротном сапоге, подпрыгнула на снегу, поджала пальцы, как кошка перед прыжком, и помчалась. Прочь. Вдоль улицы, огромными скачками, как заяц. Фрол упал, как подрубленный дуб, на здоровую ногу, но и она уже отделялась. Нога вырвалась из-под него, вывернулась из штанины, оставив пустую, мокрую от крови брючину, и, взбрыкнув, понеслась следом за первой.

Две ноги в сапогах бежали по лунной улице, одна за другой, быстрым, ровным, торопливым шагом, и звук их шагов, топ, топ, топ, удалялся, затихал, пока не растаял в темноте.

На снегу остались тело, топор и Фёкла.

Она упала на колени. Она подползла к мужу, подняла его голову, прижала к груди. Фрол смотрел на неё широко раскрытыми, ясными глазами. Лицо его было спокойным, милым, живым.

— Феклуша, — прошептал он. — Я только хотел домой.

И перестал дышать.

Игнат стоял на пороге и молча смотрел. Ни слезинки. Ни звука. У него дрожали губы, и он сжимал в руках что-то маленькое, тёмное, железное, нож. Тот самый, который он, должно быть, приготовил на случай, если мать всё-таки откроет.

Верещагин не мог оторвать от него взгляда. Двенадцатилетний мальчик, у которого за неделю умер отец, и умер дважды.

— Я бы ударил, — сказал Игнат очень ровно. — Я бы ударил, мам. Только он бы не умер.

В этот момент на другом конце улицы, там, где стоял дом Рябовых, послышался скрип.

Дверь.

Они все повернулись. На крыльце рябовской избы, залитая лунным светом, стояла Матрёна. Прямая, спокойная, с белой прядью у виска. Она протягивала руки. А перед нею, на ступенях, в белой праздничной рубахе, улыбаясь, стоял Степан.

Она обняла его.

Это длилось секунду. Две. Потом Степан вместе с матерью шагнул в дом, и дверь тихо закрылась. Не хлопнула. Закрылась, как закрывают дверь, когда в доме спит ребёнок.

Верещагин рванулся. Фёдор перехватил его за локоть.

— Не надо, барин. — Голос его был глухим, мёртвым. — Она сама. Она отдала. Теперь не наше дело.

Сквозь щели в ставнях рябовской избы, прямо на глазах, к улице начали протекать тонкие, белые, шевелящиеся нити.

Крик долетел с другого конца улицы.

Женский. Пронзительный. Оборвавшийся так резко, словно кричавшую схватили за горло.

Фёдор уже бежал. Верещагин, хромая, с пустым револьвером в руке, бросился за ним, и они не ломали шаг, не прыгали, не крались, а мчались по улице напрямик, ломая наст, и под ногами у них земля гудела, как барабан. Ей было всё равно. Она больше не слушала. Она занималась чем-то другим.

Дверь лапинской избы была распахнута настежь.

Из неё лился красный свет. Не лампадный, не печной, а густой, тяжёлый, пульсирующий, как свет из открытой топки, и над крыльцом, в снежном воздухе, стоял пар, как в бане.

Верещагин влетел в сени и замер на пороге.

Плаха, порог, на котором днём сидел Лапин, больше не была плахой.

Она растеклась. От стены до стены, от косяка до косяка, дубовые доски превратились в густую красно-чёрную жижу, булькающую, живую, похожую на кипящую смолу. Пол вокруг неё вздулся, потрескался, и из трещин, как пар из чайника, поднимался багровый туман. А в самом центре, там, где ещё вчера лежал прочный порог, зияла яма. Круглая, глубокая, ровная, как пасть.

И из неё вылезали.

Они выходили не спеша, цепляясь тонкими белыми руками за края, подтягиваясь, как подтягиваются пловцы на борт лодки. Девушки. Нагие. Худые, хрупкие, почти детские, с длинными мокрыми огненно-рыжими волосами, которые светились, как угли. Лица у них были красивые, измождённые, с запавшими щеками и горящими глазами, и на каждом лице блестела испарина, как на лице больного в горячке.

Они тряслись.

Не от холода. Их знобило. Мелкой, частой, неудержимой дрожью, от которой стучали зубы, мотались головы, дребезжали кости. Они выходили из ямы, и каждая оставляла за собой след на полу: мокрый, дымящийся, с запахом жара и пота.

Ниже колен у них были птичьи лапы.

Тонкие, жёлтые, с кривыми когтями. Они цокали по дереву, как у больших цапель.

Лихорадки, понял Верещагин. Он помнил это слово из старой книги, прочитанной в детстве у деда. Двенадцать сестёр. Двенадцать трясовиц. Ходят по избам, где сидят слабые, трясут их, пока те не умрут.

Они уже были в избе.

Дарья лежала на полу, у печи, скорчившись, и дрожала с головы до ног, как в приступе. Лицо её было красным, мокрым, глаза закатились. Над ней, наклонившись, стояла одна из сестёр и тихо, нежно водила рукой по её волосам, и от каждого прикосновения Дарью выгибало дугой.

Нюша визжала на печи. Две лихорадки, смеясь, тянули её за ножки, а она цеплялась за край, и её лицо, ещё детское, пылало, как уголь. Жена Фёдора, не отпуская младенца, билась в углу, и вокруг неё кружились три сестры, касаясь, дразня, играя. Арина, прикрыв собой дочь в бадье, отбивалась кочергой. Дуня, обезумевшая, извивалась, и ноги её, зажатые в золе, били с такой силой, что вся бадья ходила по полу.

Фёдор взревел и бросился вперёд.

Топор ударил одну в плечо. Лихорадка не вскрикнула. Она повернулась, улыбаясь, и положила ладонь на его руку. Фёдор застыл. Побагровел. Глаза его вылезли из орбит. Он выронил топор и согнулся пополам, колотясь всем телом, и из ноздрей его полилась кровь.

Верещагин поднял револьвер. Один патрон. Он помнил: один.

Выстрел оглушил. Ржавый гвоздь прошил голову ближайшей сестры, и она, не изменившись в лице, рассыпалась горстью искр, как головешка. Остальные повернулись. Одиннадцать лиц, красивых, бледных, горящих. Они улыбнулись, и их улыбки были одной и той же улыбкой.

Они пошли на него.

Он отступил к стене. Револьвер пустой. Нога горела. Он понимал, что не успеет, что сейчас они коснутся его, и он забьётся на полу, как Фёдор, и умрёт в горячке, глядя в потолок.

И тогда на печи что-то зашевелилось.

Тихо. Медленно. С таким сухим, скрипучим, деревянным звуком, как будто в старом доме открылся ставень, не открывавшийся тридцать лет.

Овчина упала.

Ермил сидел на печи, сбросив с себя тулуп, в одной рубахе, и лицо его было совершенно спокойным. Он смотрел вниз на лихорадок, на яму, на детей, как смотрит хозяин, вернувшийся в разорённый дом. Потом наклонился и сорвал с ног вожжи.

Верещагин не мог отвести глаз.

Ноги Ермила были чёрными.

От колен до кончиков пальцев они были покрыты твёрдой, шершавой, потрескавшейся корой, как у старого дуба. Мышцы, или то, что должно было быть мышцами, переплетались под ней узлами и жилами, толстыми, узловатыми, живыми. Ступни расширялись, разлезались, и пальцы, длинные, цепкие, неровные, больше походили на корни, чем на пальцы. Из кожи кое-где, как почки, выбивались тонкие зелёные побеги. Нога жила. Она росла. Она тридцать лет росла, пока он лежал под овчиной.

— Сидор, — сказал Ермил, глядя куда-то поверх голов, в темноту. — Я иду.

Он соскользнул с печи.

Первый шаг был страшен. Дерево хрустнуло, и пол под его ногами провалился на ладонь. Он встал, как встаёт на землю огромное старое дерево, ломая всё вокруг. Второй шаг. Третий. Корни его пальцев впивались в доски, пробивали их, уходили вглубь, и за ним по полу тянулись глубокие чёрные борозды.

Лихорадки замерли. Их улыбки погасли.

Ермил дошёл до ямы. Остановился на её краю, посмотрел вниз, в красную дымящуюся пасть, и сказал спокойно, будто здоровался со старым знакомым:

— Здравствуй. Я долго ждал.

Потом он шагнул в неё.

Не упал. Он встал в яму обеими ногами, как встаёт в воду пахарь, и корни его вонзились в стены. Раздался такой треск, что Верещагин упал на колени. Весь пол, вся изба, всё, что было под ней, содрогнулось. Из ямы взметнулся столб красного пара, потом чёрного, потом белого. Лихорадки завизжали, закружились, прижались друг к другу, и бросились к краю. Но Ермил поднял руки, и из них тоже, из ладоней, из предплечий, поползли зелёные побеги. Они ловили сестёр на лету, обвивали, душили, втягивали в яму.

Одна за другой.

Они исчезали с тонкими, пронзительными, затихающими криками, как исчезают в проруби. Последняя, самая высокая, успела вцепиться Ермилу в плечо ногтями, и он повернул к ней лицо и тихо сказал:

— Иди домой.

И она, как будто поняла, разжала пальцы.

Когда всё стихло, Верещагин поднял голову.

Яма исчезла. На её месте, на полу, стоял Ермил. Он стоял прямо, глубоко вросший в доски, как столб, как дерево, как вековая сосна. Корни его ног вплелись в пол, ушли в землю, и вокруг него, в радиусе трёх аршин, пол был перепахан, вздыблен, затянут мягкой чёрной корой. Кора поднималась по его голеням, по бёдрам, к поясу.

Он был жив. Он смотрел на Верещагина ясными, добрыми, измученными глазами.

— Теперь это мой порог, — сказал он. Голос стал глухим, скрипучим, как у дерева. — Сидор не зря ушёл. Он открыл. А я закрыл.

— Ермил, — прошептал Фёдор, поднимаясь с колен. Лицо его было залито кровью. — Дядя.

— Не бойся, Федя. Мне не больно. Мне сорок четыре года, и я первый раз за тридцать лет стою на своих ногах.

Он улыбнулся.

Потом кора дошла до груди, и глаза его закрылись, и лицо замерло, спокойное и светлое.

На рассвете, как всегда, из-под пола раздался голос. Но теперь он был непривычно тихим, словно что-то говорилось сквозь зубы, сдерживая досаду.

— Тринадцать.

Утром слобода вышла смотреть.

Не на нечисть, не на следы. Они стояли перед лапинской избой молча, сняв шапки, как перед иконой, и смотрели в открытую дверь на человека, вросшего в пол.

Ермил не шевелился. Кора дошла ему до подбородка, чёрная, плотная, с узорчатыми прожилками, и лицо над нею, спокойное, светлое, с закрытыми глазами, казалось лицом спящего ребёнка. Из его плеч, из предплечий пробились тонкие зелёные побеги с двумя-тремя листочками, яркими, нежными, невозможными в ноябре. Они слабо шевелились, хотя в избе не было сквозняка.

Нюша подошла первой.

Она босиком, по тёплому полу, дошла до дяди, остановилась и протянула руку. Маленькая ладошка легла на шершавую кору. Девочка задумалась, потом достала из-под рубахи красную нитку, ту самую, оборванную в ту ночь, когда лезли руки, и бережно, старательно обвязала ею самую тонкую ветку.

Потом отступила и сказала тихо, по-взрослому:

— Спи.

Слобода начала расходиться. Тихо, без слов, по одному, не глядя друг на друга.

Верещагин пошёл по улице. Он не хотел идти, ноги несли сами. Нога почти не болела: боль будто забыла его в эту ночь. Он шёл вдоль заиндевевших плетней и смотрел, как слобода, пережившая страшную ночь, поднимается, оживает, ломает шаг и выходит в серое утро. И вот что он замечал: ни один человек не смотрел на него прямо. Они смотрели на его ноги.

У нечаевской избы он остановился.

Фёкла сидела на крыльце, на нижней ступеньке, босая, в окровавленной рубахе, и качала на коленях то, что осталось от мужа. Она напевала. Тихо, ровно, колыбельную без слов. Игнат стоял рядом на коленях в снегу и ножом, тем самым, маленьким, железным, долбил мёрзлую землю у крыльца. Лунку для отца. Узкую, аккуратную. Он ни разу не поднял головы.

Младшие дети сидели на ступеньках, прижавшись друг к другу.

Очень скоро, подумал Верещагин, этот мальчик скажет мне, что он готов. И я не знаю, что отвечу.

В рябовской избе дверь была чуть приоткрыта.

Он не хотел заглядывать. Он заглянул.

В сенях, на земляном полу, напротив друг друга, сидели двое. Мать и сын. Матрёна, прямая, спокойная, с белой прядью у виска, и Степан в праздничной рубахе, подобрав ноги, улыбаясь. Они держались за руки. Между ними, на полу, лежала раскрытая ладонь солнечного света, пробившегося в щель, и в этом свете, на глазах у Верещагина, от их ног, от босых ступней Степана и от материных, вверх по голеням и по полу вплетались друг в друга тонкие белые нити. Они росли. Они сплетались в ровную, нежную, тугую косу.

Матрёна подняла глаза и посмотрела на него.

Она не мигала. Лицо её было ясным, чистым, счастливым, как у невесты. Она ничего не сказала. Она только приложила палец к губам и тихо, ласково улыбнулась.

За плечом Верещагина вздохнула Агафья.

— Не трогай, — сказала она. — Это не смерть, барин. Это дом. Они так будут жить. Долго.

— Это что? — спросил он хрипло.

— То, что остаётся, когда порог принял. — Агафья смотрела не на них, а в землю. — Когда нет ни жизни, ни смерти. Просто тепло.

Он закрыл дверь. Тихо, чтобы не разбудить.

Агафья шла рядом с ним ещё немного, молча, опираясь на палку, и Верещагин вдруг заметил, что она сильно постарела за эти дни. Лицо осунулось, глаза выцвели, пальцы дрожали.

— Тринадцать, — сказала она вполголоса. — Скоро. Ты помнишь, что тебе сказал Мефодий?

— Помню.

— Я тоже. — Она остановилась. — Я не скажу тебе, что делать. Я не имею права. Но если надумаешь, не жди последней ночи. Приходи ко мне раньше. Я научу, как ложиться без страха.

— Разве это возможно?

— Нет, — сказала Агафья. — Но можно научиться делать вид.

Она ушла.

Верещагин остановился посреди улицы, один, в сером зимнем свете. Над церковью, на холме, поднималась тонкая струйка дыма. Никодим растопил печь. У ворот церковной ограды, прямо на снегу, на расстеленной тряпице, лежало что-то тёмное, аккуратное, перевязанное шпагатом.

Он подошёл ближе.

Тетради. Девять штук, в потрёпанных кожаных обложках, одна на другой. Поверх них лежал сложенный листок. Он развернул.

Почерк Никодима, судорожный, неровный, как будто писали на коленях:

«Читайте. Хватит ждать. Я прочёл все, и теперь не сплю. Начните с третьей. В первой он ещё надеется».

Верещагин взял верхнюю тетрадь, наугад раскрыл её и прочитал первую строку, написанную на пожелтевшей, замусоленной бумаге выцветшими чернилами.

«Если вы читаете это, значит, вы уже сели».

Глава 9. Тетради

Он читал сидя на корточках, подобрав ноги под себя, на земляном полу избы Агафьи, и первое, что почувствовал, раскрыв тетрадь, был жар.

Не от печи. От самой бумаги. Она лежала на его коленях тёплая, как живое существо, и каждая страница, когда он переворачивал её, отдавала в пальцы лёгким пульсирующим толчком, как стенка артерии. Он не решился сказать об этом Агафье.

Она сидела напротив, на таком же низком чурбаке, и перебирала в подоле сушёные травы, не поднимая глаз. Рядом на широкой лавке под тулупом спал Тимоша. Вернее, лежал. Он не спал, это было ясно по дыханию, редкому, ровному, как у человека, который бережёт каждый вдох. Лицо его, осунувшееся, прозрачное, было повёрнуто к стене.

— Читать не умею, — сказала Агафья, не оборачиваясь. — Я слышала. Как он писал.

— Вы были при нём?

— Была. — Она растёрла в ладонях пучок зверобоя. — Он по ночам в церкви писал. Свеча горит, перо скрипит, а мне через стену слышно. Скрип такой, как ногтем по стеклу. Потом бросил. А потом опять. А потом перестал уже совсем, и мы нашли его утром, под алтарём. — Она замолчала. — Читай. Только вслух не надо. Он не любит, когда вслух.

Верещагин кивнул.

На обложке первой тетради, потёртой, телячьей, с загнутыми уголками, стояла выцветшая надпись: «Дневникъ священника Гавріила Остроумова, селенія Постниковы Овраги Самарской губерніи. Съ 14 октября 1851 г.». Рядом, другими чернилами, темнее и крупнее, было приписано: «Не для чтенія».

Он раскрыл.

14 октября 1851 г. Прибыл на место служения. Погода сырая, дорога отвратительная, ямщик всю дорогу молчал, а на последней версте перекрестился три раза и отказался ехать дальше моего двора. Деревня Постниковы Овраги производит впечатление зажиточной, но замкнутой. Дома чисты, огороды ухожены, дети не бегают. Староста, некий Сидор Лапин, принял меня радушно, но смотрел в сторону. Церковь деревянная, старая, хорошей рубки. Живу при ней, в сторожке. Доволен.

Одно замечание. Когда я переступал порог церкви, пономарь, мужик лет пятидесяти, придержал меня за локоть и тихо попросил: «Батюшка, левой». Я не понял. Он повторил: «Левой ногой через порог. Так заведено». Я, конечно, поинтересовался, почему, но он только развёл руками. Староста, проходя мимо, пробормотал: «Завтра узнаете». Но назавтра никто ничего не объяснил.

16 октября. Первая служба. Народу много, больше ста человек. Стоят тихо, дисциплинированно. Заметил, что ни один не сидит. Стоят даже старики. Спросил после службы у пономаря, отчего никто не садится. Он ответил, что скамей нет. Вернее, были, да убрали. «Давно», — сказал он. «При отце Мефодии».

Спросил о прежнем священнике. Пономарь побледнел и ответил, что отец Мефодий умер в тридцать восьмом году, на Покров. Больше ничего не добавил. Я, разумеется, навёл справки в консисторiи: действительно, в списках значится «умре». Причина смерти не указана. Тело, судя по записи, «погребено без отпевания».

Странно. Но, полагаю, всему есть объяснение.

Верещагин поднял глаза. Агафья смотрела на него.

— Наивный, — сказала она. — Красивый был. Худой. Руки белые. Барышням бы понравился.

— Он умер, как и все?

— Он умер, как никто, — ответила она. — Дальше читай.

3 ноября. Нашёл в алтаре под престолом чугунную решётку, закрытую плитой. Спросил у пономаря. Тот побледнел и сказал: «Не троньте, батюшка». Но я, признаюсь, любопытен. Вечером, оставшись один, откинул плиту.

Внизу, в яме, лежал человек.

Я не стану описывать, что я почувствовал. Не потому, что это невозможно, а потому, что страшно вспоминать. Скажу лишь, что, склонившись над решёткой со свечой, я услышал голос. Не из ямы. Из самого камня. Мужской. Старческий. Невыразимо усталый. Он спросил меня одно слово: «Смена?»

Я ответил: «Нет». И услышал, как человек внизу заплакал.

Он читал, и время в избе будто остановилось. Огонь в печи не двигался. Травы в руках Агафьи, перебираемые одним и тем же жестом, ложились в один и тот же узор. А он переворачивал страницу за страницей, и в голове у него складывался ровный, безжалостный, как приговор, голос покойного священника.

12 ноября 1851 г. Говорил с ним уже трижды. Он не называет мне своего имени, я не называю ему моего. Он просит, чтобы я не называл его по имени. Говорит: «Слово, что вслух, они слышат». Я не понимаю, но подчиняюсь.

Сегодня я спросил: «Что вы держите?» Он ответил: «Дверь». Я спросил: «Что за дверью?» Он замолчал так надолго, что я решил: не ответит. Потом он сказал: «Не знаю. Я знаю только, что их там очень много, и что им очень больно».

Я спросил: «Чем я могу помочь?» Он засмеялся. Это был страшный смех, сухой, ломкий, как треск льда. «Придумай, как убрать боль, не открывая двери. Тринадцать лет я думаю об этом».

9 января 1852 г. Немного освоился. Прихожане любезны, но уклончивы. Большая часть из них, как мне кажется, знает больше, чем говорит. Я произнёс две проповеди против суеверий: о «ломании шага», о «красных нитях», о запрете садиться на лавки. Реакция странная: люди слушали с лицами, какие бывают у детей, которым взрослый объясняет, что доброго волшебника не существует. Жалостливо. Почти ласково.

После службы подошла женщина. Назвалась Агафьей. Лет тридцати пяти. Худая, жилистая, с белыми глазами. Сказала мне прямо: «Батюшка, вы человек неплохой. Не мешайте нам». Я возразил, что моё дело разгонять тьму. Она улыбнулась и ответила: «Вы не знаете, где она. А мы знаем. Вы дверь откроете, а мы потом хоронить будем».

Я удивился. «Какую дверь?» «Ту, что вы под алтарём нашли», — сказала она.

Верещагин поднял глаза. Агафья перебирала траву, и руки её не дрожали.

— Вы ему так и сказали?

— Сказала.

— Он вас послушал?

— Ни разу. — Она хмыкнула. — Умные всегда не слушают. Читай.

3 мая 1852 г. Пасха была поздняя. На Светлой неделе пропали три девицы. Параскева Белова, Аксинья Рябова, Дарья Нечаева, все лет шестнадцати. Родители утверждают, что отправили их к родне в Самару. Я справился в уездном присутствии: никто из означенных лиц в Самаре не регистрировался. Повторил вопрос старосте. Сидор Лапин, ещё молодой, но угрюмый, сказал: «Батюшка, не ваше дело». Я настаивал. Он положил мне руку на плечо и тихо сказал: «Если хочешь жить, молчи».

Я не молчал. Я пошёл на выселки.

20 мая. Не знаю, как писать об этом.

Выселки лежат в десяти верстах от слободы, за лесом, за оврагом. Семь изб. Заборы странные: я сперва принял их за частокол, лишь потом разглядел, что столбы слишком ров-

ные, слишком одинаковые. Я не стану описывать. Скажу только, что на крыше первой избы в ряд стояли сапоги, и они шевелились.

Меня встретила женщина. Лет тридцати пяти, в белом платке, с лицом, которое я где-то видел. Она сказала: «Здравствуй, отче. Заходи». Я вошёл. Мне предложили квасу. Я пил. Мне было стыдно, что я пью, но я пил. Квас был вкусный, с хреном.

Её зовут Меланья. Она сестра Агафьи, близнец, но не смотрит на неё. Не говорит о ней. Не называет по имени. Рассказала мне, что в тридцать восьмом году они поссорились из-за какого-то пустяка. Агафья потеряла пальцы. Меланья ушла на выселки. «Не из-за обиды, — сказала она. — Из-за того, что должна быть там, где можно кормить».

Я спросил: «Кого кормить?»

Она ответила: «Тех, кто под нами. Они голодные. Они давно голодные. Мы их кормим, чтобы они спали».

Я спросил: «Чем?»

Она смотрела на меня долго. Потом наклонилась и подняла край юбки.

Я не вскрикнул. Я не имею права писать, что не вскрикнул, потому что не помню. Но ниже колен у неё были вовсе не человеческие ноги. Это были ноги козы. Серая шерсть, раздвоенные копыта, чёрные, лакированные. Она смотрела на меня без стыда, без злобы, а с чем-то, что я могу назвать только бесконечной, тихой усталостью. «Это не наказание, отче, — сказала она. — Это работа».

Верещагин остановился. Он поднял глаза на Агафью. Старуха сидела, не двигаясь. Лицо её, как всегда, было неподвижным, но в уголках глаз что-то слегка дрожало.

— Она мне сестра, — сказала Агафья глухо. — Мы родились в один день. Не скажу, что я не люблю её. Но я не могу её видеть. Она делает то, что я не смогла. Она стоит там, где надо, а я прячусь здесь.

— Вы с ней не говорили…

— Тридцать лет, — сказала Агафья. — Читай дальше. Не мне об этом рассказывать.

Первые две тетради он пробежал быстро: в них было много страха, много недоумения, много молитв. Священник боролся. Он служил молебны над решёткой, окропил святой водой каждый порог в слободе (и увидел, как после этого из-под порогов три дня шёл пар), пытался отучить паству от суеверий. Потом перестал. К концу второй тетради записи становились короче, суше, как у человека, который начинает понимать, что с ним делают.

— Берите третью, — сказала Агафья. — Там он нашёл.

Третья тетрадь была тоньше, чем остальные, и страницы её были слеплены от сырости. Верещагин осторожно отдирал их друг от друга.

11 июня 1853 г. Нашёл.

Искал не то. Искал церковные книги за предшествующие годы, чтобы понять, кто и когда впервые заложил здесь порог. Спустился в подполье под сторожкой. За кирпичной кладкой, в нише, отыскалась медная трубка, зелёная от времени, запаянная воском. В ней берёста, свёрнутая в тугой свиток. Чернила выцвели, но почерк разбираю. Слог древний, церковный. Привожу целиком, сохраняя, как могу, написание.

«Грамота старца Иова, лета от Сотворения мира 7196-го, месяца февраля в 11 день.

Мы, беглые люди, христиане древлего благочестия, бежали из Москвы от никонианской ереси, от царя и от боярина Хованского, шли зимой, великие морозы были. Умирали по дороге дети и старцы. Земля была камень, и мы не могли хоронить. Я, Иов, раб Божий и пастырь сих овец, повелел мёртвых оставлять на пути без погребения, но отсекать им стопы, чтобы не встали и не пошли за нами, как то бывает у проклятых и некрещёных. И так мы оставили на пути тридцать и три человека.

На тридцать четвёртую ночь пришли мы в место тёплое, где снег не лежал. Я повелел копать погреб, чтоб схорониться от стужи. Копая, нашли дверь. Дверь та черна, велика, как колесо мельничное, и за нею стук.

Не злой был стук. Тихий, детский. Кто-то стучал и просил.

Тогда услышали мы голоса. Те, кого мы оставили. Жена Ермолая. Брат Савватий. Дети Мироновы, трое. Они говорили: "Впустите нас. Мы идём за вами. Мы дойти не можем. У нас нет ног. Дайте ноги, и мы пойдём дальше".

Мы воззвали ко Господу, и Господь не ответил. Мы затворили дверь камнем. Но голоса слышались каждую ночь, и скотина дохла, и дети ходили во сне к двери. Тогда я, старец и грешник, вступил с ними в слово.

Я дал им слово: кормить их стопами, дабы не вышли. А они дали слово: спать.

И первую стопу дал я. Сына своего Тимофея, двух лет от роду, умершего на пути, чьи стопы я отсёк своею рукою: положил под порог первого дома, и стал он первым жильцом. Так положили мы договор: каждые тридцать лет один из нас, сам добровольно, ляжет на дверь и будет держать, дабы не вышли. А они, мёртвые, будут спать, пока им носят ноги.

Аминь. Да простит нас Бог».

На этом бересте кончалась. Дальше, внизу, другой рукой, торопливой, неровной, были выцарапаны три слова:

«Простите. Мы не знали».

Верещагин положил тетрадь на колени. Руки у него дрожали. Он вспомнил жёлтое сморщенное лицо в колыбели, чёрные, как мокрая галька, глаза, огромную улыбку. Вспомнил, как оно протянуло ему палец. Вспомнил смех.

Двух лет.

— Они не бесы, — сказал он вслух. Голос вышел чужой. — Это не нечисть. Это мёртвые.

— Мёртвые, — подтвердила Агафья. — Тридцать три, которых оставили на дороге. И те, кого они потом забрали. И те, кого мы им потом дали. — Она подняла на него белые глаза. — Много стало. За сто восемьдесят лет много.

— Им отрубили ноги, — медленно проговорил Верещагин. — Живые. Своим. Чтобы не ходили за ними. А потом они захотели обратно.

— А потом они захотели ноги.

Он закрыл глаза. Перед ним встало поле, чаша в красной глине, сотни ног в лаптях и сапогах, и подумалось: они же растят их, как хлеб. Они сажают ноги в землю и ждут, пока вырастут новые.

— Это поле…

— Это не для еды, — тихо сказала Агафья. — Это для хождения. Они сажают ноги и поливают кровью, и через год-два из них вырастают другие. Целые. Крепкие. Годные, чтоб идти. И когда вырастут все…

— Они смогут уйти?

Агафья не ответила.

Она показала глазами на тетрадь.

— Прочти про панихиду, — сказала она. — В той же тетради, ближе к концу. Тогда ты поймёшь, зачем он это сделал.

Верещагин нашёл. Страницы здесь были измяты, будто на них капали водой, и чернила местами расплылись.

1 ноября 1853 г. Сегодня ночью они пришли в церковь.

Я не стану преувеличивать. Я не стану описывать то, чего не видел. Я вышел из сторожки около полуночи, потому что услышал на паперти шорох. Не шаги. Шорох, какой бывает, когда по снегу тащат мешки. Я взял свечу и открыл дверь.

Они ползли.

От самой ограды, по всему холму, по аллее, по склону, по всей площади перед церковью, насколько хватало света. Тысячи. Мужчины и женщины, старики и дети. Они ползли на локтях, подтягиваясь, упираясь ладонями в снег. Ниже колен у них не было ничего. У некоторых не было и выше. Одеты они были так, как их хоронили или бросили: в ватные кафтаны, в посконные рубахи, в рваные платки, в детские распашонки. На лицах у них лежал иней. Глаза были открыты.

Ни один не издал ни звука.

Я стоял на крыльце, прижимая к груди свечу, и чувствовал, как у меня отнимаются колени. Сначала я хотел бежать. Потом хотел закричать. Потом увидел впереди, в первом ряду, маленькую девочку лет четырёх, в залатанном сарафанчике, с косичкой. Она подползла к самым ступеням, подняла лицо и посмотрела на меня. И я понял, что она просит.

Не ноги. Не жизни. Она просила, чтобы с нею поговорили.

Я вернулся в церковь, зажёг все свечи, какие нашёл, облачился и начал панихиду.

Я служил её до рассвета. Стоя, потому что сесть не посмел. Я читал без книги, наизусть, всё, что знал: «Со святыми упокой», «Вечная память», «Блаженни непорочнии». И от дверей, из темноты, вторили мне тысячи шёпотов. «Господи, помилуй». «Господи, помилуй». Тихо, нестройно, как повторяют дети, которых учат молитве. Я слышал, как в углах плачут. Я слышал, как кто-то один, старческий голос, тихо, жалобно, раз за разом повторял: «Дошли. Дошли. Мы всё-таки дошли».

На рассвете они ушли. Так же, как пришли: ползком, молча, оставляя за собой в снегу глубокие борозды. Девочка с косичкой на пороге обернулась и… я не решусь это писать. Она улыбнулась.

Сорок дней после этого в слободе было тихо. Ни стука, ни голосов, ни следов на снегу. Староста Лапин приходил ко мне и спрашивал, что я сделал. Я ответил: «Назвал их людьми».

Он ничего не сказал. Только поклонился.

Верещагин закрыл тетрадь. Горло у него горело.

— Он понял главное раньше всех, — сказала Агафья. — Они не хотят нас убить. Они хотят, чтобы мы признали, что они были. Чтобы кто-то сказал: вы жили, вас любили, вы не вещи. А слобода сто восемьдесят лет им отвечала ножами и солью.

— Почему же потом…

— Потому что сорок дней прошло. — Она поднялась, тяжело, как старуха. — И они опять проголодались. Мёртвые тоже голодают, барин. По памяти.

Четвёртая тетрадь была исписана цифрами.

Гавриил считал. Он считал, как считал бы землемер или инженер, холодно, методично, страницу за страницей: сколько мёртвых было в момент заключения договора, сколько прибавилось за сто пятьдесят лет, сколько ног ушло в землю, сколько выросло, сколько сгнило. Он расчертил таблицы. Он вёл ведомость поля.

24 августа 1856 г. Посеяно за истекшие сроки 1 187 ног. Выросло годных, т.е. способных к хождению, 412. Мёртвых, нуждающихся в ногах, по моему счёту, 1 140. Недостаёт 728 пар.

3 января 1857 г. Расчёт на ближайшие 12 лет: при нынешнем темпе посева, около 60 пар в год, недостаток будет покрыт к 1870-му. Если приложить усилия. Если помочь.

Мефодий возражает. Я пришёл к нему вчера с расчётами. Он слушал, потом сказал: «Ты считаешь верно. Ты не считаешь одного». Я спросил: «Чего?» Он ответил: «Они не умеют ждать. Они хотят сейчас. Если откроешь дверь раньше срока, они пойдут на ногах живых. По головам».

Я ответил: «Если подождать, они дождутся своих». Он сказал: «Они мертвы, отче. А мёртвым всё равно, сколько ждать, но им не всё равно, чем».

Я не знаю, кто из нас прав.

Верещагин остановился. Что-то было не так. Он не сразу понял что, пока не перевернул страницу и не увидел, что на ней, прямо поверх чернил Гавриила, поверх колонок цифр, проступает другая строка.

Она возникала не сразу. Сначала бумага потемнела, как темнеет мокрое дерево, потом на ней, как на запотевшем стекле, проявились линии. Буквы. Те же самые, острые, торопливые, косые, почерк Гавриила, но другого цвета, ржаво-красного, будто писали кровью. Они складывались у него на глазах, слово за словом, и он слышал, как под бумагой тихо, влажно шелестит перо.

Они не злые, Платон Ильич.

Он отшвырнул тетрадь.

Она упала на земляной пол, раскрывшись, и в тот же миг по комнате пронёсся лёгкий, горячий, пахнущий воском ветерок. Агафья вскочила. Тимоша на лавке дёрнулся, повернул голову.

— Не отвечай, — сказала Агафья сухо. — Оно зовёт тебя по имени. Не откликайся.

— Оно знает моё имя.

— Оно тебя знает давно.

Она присела на корточки, не касаясь тетради, и посмотрела на страницу. Строка продолжалась. Теперь она писалась быстрее, как будто невидимая рука торопилась успеть.

Вы уже поняли. Они не бесы. Мы с вами сделали то, что делают в страхе: решили, что мёртвый, оставленный без ног, перестанет быть нашим. А он остался. Он идёт за нами сто восемьдесят лет, ползком, по земле. Если вы читаете это, значит, вы сели. Вы сели на край. Вам не больно. Вам тепло. Это правильно. Именно так они это делают. Не страхом: теплом. Они не хотят вас убить. Они хотят, чтобы вы поняли.

— Я понял, — сказал Верещагин вслух и сам не узнал своего голоса.

Строчка исчезла. На её месте, медленно, чёрными, ровными, почти печатными буквами, как в газете, проявились другие.

Я знаю, что вы спросите: что делать. Я не знаю. Я не успел решить. Но я оставил вам ключ в девятой тетради. Не дочитывайте шестую до конца. Начните с девятой. Там то, что Мефодий не знал.

Страница погасла. Остались прежние цифры и таблицы.

В избе повисла тишина. Только в печи тихо потрескивало полено, и откуда-то, снизу, ровно, мерно, терпеливо, как биение огромного сердца, шёл гул.

Тимоша приподнялся на лавке. Лицо его, бледное до синевы, было серьёзным.

— Не читай до конца, — сказал он. — Он тебя уговорит.

— Что в девятой? — спросил Верещагин.

— То, из-за чего он умер.

— Откуда ты знаешь?

— Я слышал, — сказал мальчик. — Я часто слышу его. Через пол. Через церковь. Он всё время шепчет. — Он закашлялся. — Он не злой. Он очень хороший. Он просто тоже не знает, что делать.

Агафья взяла с лавки тряпицу и, не прикасаясь пальцами, осторожно накрыла ею тетрадь. Сквозь ткань на мгновение проступило красное пятно, потом погасло.

— Надо поспешить, — сказала она. — Если он уже тебя зовёт, значит, ему мало времени. А значит, и нам.

Она повернулась к окну.

За окном, в сером ноябрьском свете, медленно наползали сумерки.

К закату Агафья обошла избу кругом.

Она шла медленно, подбирая ноги, касаясь стен палкой, как слепая, и сыпала солью вдоль завалинки. На подоконники положила ножи. Над дверью повесила пучок чертополоха, обвязав его красной шерстью. В печь подбросила рябиновых поленьев, и по избе поплыл острый горьковатый дым.

— Сегодня придёт, — сказала она, не оборачиваясь. — Я чую.

— Кто?

— Тот, кто писал.

Она вернулась, села на чурбак и достала из-за пазухи топорик с коротким, обмотанным тряпкой топорищем. Положила на колени.

Тимоша лежал на лавке с открытыми глазами и молчал. Верещагин сидел у окна, прислушиваясь. Колокол в слободе ударил один раз, далёкий, глухой, как удар в подушку.

И тогда на погосте что-то треснуло.

Звук был таким, будто раскололи ствол старого дуба: сухой, долгий, раздирающий. Он покатился по полю и затих, и в наступившей тишине Верещагин услышал, как скрипят, натягиваясь, корни.

Он выглянул в окно.

Луна была полной, ровной, холодной. Погост лежал, как чёрная гребёнка, и за его оградой, там, где у забора, поодаль от других, чернел безымянный холм, происходило движение. Земля на холме вздувалась. Дёрн отрывался пластами, как кожа. Из-под него, медленно, с шелестом, выползали толстые узловатые корни, поднимались в воздух, как щупальца, и ощупывали лунный свет.

Потом из холма поднялась рука.

Белая. Худая. Кисть её ещё не потеряла формы, но пальцы удлинились, ногти превратились в тонкие чёрные коготки, и на запястье, как манжета, наросла серая кора. За рукой показалась голова, плечи, ряса. Сгнившая до лохмотьев, пропитанная землёй, она висела на нём, как мокрая тряпка.

Он выбирался из могилы очень долго.

Он поднялся. Распрямился. И Верещагин увидел, что вместо ног у него два толстых, чёрных, узловатых древесных ствола, вросших в землю. Они вытягивались из холма с мокрым хрустом, как выдирают с корнем огромное растение, и у каждого на конце извивалась густая бахрома тонких белых корешков. С них падала земля. Над коленями, из складок рясы, пробивались молодые зелёные побеги.

Он пошёл.

Это было не хождение. Это было переступание. Каждый ствол поднимался, плыл по воздуху и обрушивался на землю с глухим, как удар молота, звуком. Почва вздрагивала. С плетней осыпался иней. Он шёл, не спеша, ровно, не ломая шага, и с каждым ударом в избе дребезжала посуда.

— Отец Гавриил, — сказала Агафья очень тихо. — Господи, помилуй.

Он дошёл до избы и остановился в трёх шагах от порога из ножей.

Луна освещала его лицо. Оно оказалось удивительно целым. Худое, бледное, с впалыми щеками и высоким лбом, с мягкими тонкими губами. Тонкая русая бородка. Седые, длинные волосы, в которых запутались сухие листья. Глаза светлые, кроткие, чуть удивлённые, как у человека, только что проснувшегося. Он улыбнулся.

— Агафья Ефимовна, — сказал он. Голос был мягкий, ровный, чуть хрипловатый, в нём слышались годы тишины. — Не бойтесь. Я не причиню вреда.

— Я не боюсь, — сказала Агафья. — Я зла.

Она вышла на крыльцо. Не ступая на ножи, а перешагнув их, как перешагивают через спящих собак. В руке у неё был топорик.

— Ты оставил Мефодия одного. Ты полез в то, что тебя не касалось. Ты хотел всех нас в могилу положить.

— Я хотел их отпустить, — тихо сказал Гавриил.

— Они бы тебя первого сожрали.

— Нет. Они бы ушли.

— Отец, — сказал Верещагин, выходя вслед за ней. — Я читал ваши записи.

Гавриил повернул к нему светлые глаза. В них вспыхнуло что-то живое, горячее, почти детское.

— Платон Ильич. Вы дошли.

— До четвёртой.

— Девятая, — сказал Гавриил. — Прошу вас. Девятая. Прочтите её. Не здесь: здесь они слышат. В церкви. Над решёткой. Вслух.

— Нет, — сказала Агафья.

— Агафья Ефимовна…

— Нет. — Голос её не повысился, но топорик в руке дрогнул. — Не дам. Мефодий держит. Ты же слышишь, как он держит. Каждую ночь. Он тридцать лет не спит. Я не позволю тебе приходить с того света и ломать то, что он собрал.

— Он не соберёт больше, — сказал Гавриил, и в голосе его впервые прозвучала горечь. — Вы знаете. У него пальцы срослись с кольцом. Он умрёт через двенадцать ночей. А потом дверь откроется сама. Не по доброй воле. А как плотину прорывает.

— Откроется — закроем.

— Нет, — сказал он. — Нечем будет.

Он шагнул вперёд.

Твёрдо, тяжело, с грохотом. Земля подпрыгнула. Корни, бахромой висевшие у его ног, вонзились в снег, поползли, потянулись по насту к порогу. Ножи на пороге вздрогнули и мелко зазвенели, как стёкла в рамах при далёком грозовом ударе. Ближайший корень коснулся клинка. Зашипело. Запахло горелым деревом. Корень отдёрнулся, но другой, потом ещё один, ползли следом, один за другим, не обращая внимания на боль.

Агафья взмахнула топориком и рубанула по ближнему. Брызнул белый сок, густой, липкий, пахнущий яблоней. Гавриил вскрикнул, и в этом вскрике не было боли, а была только огромная, нестерпимая, виноватая жалость.

— Простите. Я не хочу. Они сами. Они чувствуют, что идёт срок.

Корни рванулись.

Они ударили в стены. Брёвна затрещали. Одно из окон лопнуло, и тонкая белая нить, как змея, скользнула в избу. Верещагин бросился к печи, выхватил головню и, не думая, ткнул ею в нить. Она задымилась. Из-под пола, из щелей, из-под лавок полезли другие, десятки, сотни, и каждая искала, тянулась, ощупывала. Они были слепые и очень настойчивые.

— Ему не поддавайся! — закричала Агафья. — Он не человек уже! Жги!

Она швырнула в корни горшок с лампадным маслом. Вспыхнуло. По двору, по стенам, по снегу побежало пламя, жёлтое, быстрое, жадное. Гавриил стоял посреди огня. Рясу его охватило с края, лицо озарилось, и Верещагин видел, что он не пытается тушить, не отступает, не прикрывается. Он просто стоял и смотрел на Агафью. Глаза его были мокрыми.

— Бейте, — тихо сказал он. — Я привык.

Корни горели, извивались, визжали тонким нечеловеческим писком, но не отступали, потому что тем, кто двигал ими, было нужно, чтобы они шли.

И тогда на пороге появился Тимоша.

Он вышел босой, в одной рубахе, держась за косяк. Седые волосы падали на лоб. Босые ступни, замотанные в окровавленные тряпки, ступили на ножи. Лезвия дрогнули, прогнулись,

раздвинулись, как трава перед идущим. Он пошёл по ним, как по ковру, ставя ноги пятками вперёд, и от каждого шага на клинках оставались тонкие красные следы.

— Тимоша! — выдохнула Агафья.

Он не обернулся. Он шёл к огню, к ногам-стволам, к высокому худому человеку в тлеющей рясе. Остановился в двух шагах и поднял голову.

— Отец Гавриил, — сказал он. Голос его был тихим, ровным и очень взрослым. — Дядя Мефодий не хочет.

Гавриил смотрел на него.

Лицо его менялось. Медленно, как лёд, который начинает таять. Что-то в нём сломалось и поплыло, и вот уже по бледным щекам текли слёзы, настоящие, человеческие, оставляя блестящие дорожки.

— Я знаю, дитятко, — прошептал он. — Знаю. Я тоже не хочу.

— Тогда уйди.

— Они просят.

— Они всегда просят, — сказал Тимоша. — Мы с тобой им уже всё объяснили. Они не слушают. Они ещё не научились.

Он протянул руки и положил обе ладони на узловатые стволы. Корни дрогнули. Они перестали гореть. Они вздохнули, как вздыхает уставший человек, и медленно, один за другим, стали отползать, втягиваться в снег, в землю, в тёмную, дымящуюся почву.

Гавриил закрыл глаза.

— Двенадцать, — сказал он. — Мне сказали. Двенадцать ночей. Девятая тетрадь, Платон Ильич. Не в церкви. Дома. Вслух нельзя. Читайте глазами. И… простите меня.

Он повернулся и пошёл обратно к погосту, и каждый его шаг сотрясал землю, и корни волочились за ним, как шлейф. У ограды он остановился, повернулся к избе спиной, лёг на холм лицом вниз и затих. Земля сомкнулась над ним, как вода.

Тимоша стоял на пороге ещё долго. Потом колени его подогнулись.

Агафья поймала его на руки. На белой рубахе на спине, под лопатками, расплывалось тёмное пятно: босые следы на ножах, оказывается, были не единственными.

Девятую тетрадь он читал ночью, при свече, сидя на полу в самом тёмном углу избы, повернувшись спиной к двери.

Она была совсем тонкой. Не больше двадцати страниц. Бумага в ней оказалась не жёлтой, а серой, шероховатой, как кора, и от неё пахло землёй. Он не шептал слов. Он читал только глазами, как просил Гавриил, и губы его оставались сжатыми. Агафья сидела у лавки, где лежал Тимоша, перевязанный, укрытый тулупом, и тихо, не пересказывая ни слова из прочитанного, ждала.

2 апреля 1865 г. Простите почерк. У меня теперь трудно с руками. Они затекают. Сначала я думал, от холода. Потом понял: корни. Они растут в предплечьях. Скоро не смогу писать.

Прошло два года с тех пор, как я решил помочь им. Я лежал на плите в церкви, на самом краю решётки, и отдавал им. Сперва я давал им только слова. Читал имена по бересте Иова, тридцать три, потом по ведомостям, которые вёл сам. Те из мёртвых, кого я называл, затихали. Не засыпали, а прислушивались. Это не было лекарством, но было чем-то.

Потом я начал давать им ноги.

Не свои сразу. Сперва выросшие в поле. Я носил их к двери ночью, по три, по четыре пары, и клал на решётку, и они забирали. Это правда: они забирали, и мне казалось, что я слышу, как кто-то, на другой стороне, шагает. Робко. Как ребёнок, который учится ходить.

Я думал: вот. Всё просто. Нужно лишь подождать, пока вырастет достаточно, и открыть.

Я ошибся.

Верещагин остановился. Страница была чуть влажной. Он провёл по ней пальцем, и на пальце осталась тонкая красноватая полоска.

14 июня 1865 г. Они не уходят.

Те, кто получили ноги, не уходят. Они остаются у двери. Они ходят у неё взад и вперёд, примеряют, пробуют, как обувь, и слушают. Я сперва не понимал почему. Потом понял в ту ночь, когда ко мне пришла женщина.

Она стояла у решётки. Не лицо, а голос. Тихий, сильный, спокойный. Она сказала: «Отче. Мы не уходим, потому что нам некуда. Нас никто не ждёт».

Я спросил: «Что вы хотите?»

Она сказала: «Чтобы по нам шли».

Я не понял. Она повторила: «Чтобы кто-то шёл по нам. До конца. До той стороны. Мы не знаем дороги. Мы ходили по земле, но нас не научили. Дорога под ногами. Её нужно показать».

Свеча дрогнула.

Верещагин поднял глаза. Агафья смотрела на него.

— Дальше, — сказала она тихо. — Дальше читай.

9 августа. Мефодий держит дверь. Он держит её любовью. Я понял это не сразу. Он не рассказывал мне, но однажды ночью я услышал, как он говорит с мальчиком, которого придумал во сне. Он говорил с ним так, как говорят с живым. И я понял: он держит не волей, не долгом, не страхом. Он держит потому, что ему есть кого беречь. Тимофей, сын Иова, умерший младенец, стал для него сыном, а потом и настоящий сын родился. Любовь держит. Это единственное, что держит.

Но держать мало.

Пока дверь закрыта, они не уходят. Они просто лежат за ней и ждут. Тридцать лет, потом новый держатель, ещё тридцать. И так вечно. Мефодий держит их в земле. Он не даёт им уйти. Он стал для них не стражем, а тюремщиком. Он сам этого не знает.

Я попытался открыть дверь.

Верещагин затаил дыхание.

Я сел на решётку и сказал: «Я согласен». Но я сказал это не от любви. От жалости. От ужаса перед их мукой. От вины. Это не то. Дверь распахнулась, и они хлынули. Не на ногах, а как вода. Они затопили церковь, они лезли на меня, по мне, сквозь меня. Я чувствовал каждого. Каждая нога, каждая ступня… Господи… Это длилось не знаю сколько. Потом Мефодий закричал. Вся земля закричала. Дверь захлопнулась. А я остался лежать.

Ноги мои они взяли. Я не заметил, когда. Просто, когда я пришёл в себя, на месте ног были корни.

Сентябрь. Я знаю теперь, что нужно.

Нужен не страж. Не тюремщик. И не открывающий. Нужна дорога.

Тот, кто ляжет на дверь и позволит им пройти по себе. Не вырваться, а пройти. Сквозь. По телу. До той стороны. Каждому, одному за другим, по имени. Он будет чувствовать каждый шаг. Каждую смерть. Это не пытка. Это работа, как у землемера: пройти всю землю и никого не пропустить. Он не умрёт, пока не пройдёт последний. А потом, я не знаю.

Я не смог, потому что не любил их. Я им сочувствовал. Это разное. Сочувствие рвётся на первом же шаге. Любовь не рвётся.

Дорога должна любить. Всех. И одного. Одного, кто ждёт на той стороне. Ему придётся идти туда первым.

На последней странице почерк менялся. Он становился крупным, неровным, дрожащим, как у ребёнка, который учится писать.

Платон Ильич.

Я не знаю, когда вы будете это читать. Я пишу, потому что мне сказали ваше имя. Они сказали. Они знают о вас больше, чем вы сами. Они говорят: придёт следователь из Самары, у которого умерла дочь. Он вспомнит её, когда ему будет больнее всего. И тогда он поймёт, за кого идти.

Простите меня. Я сам не хотел писать. Но руки мои уже не мои.

Список имён прилагается. Их тысяча сто сорок. Я знаю не всех. Остальных вам придётся узнавать самому. Тысяча сто сорок первое имя вписано в список не моей рукой. Вы его знаете.

Лёля.

Верещагин не закричал.

Он медленно положил тетрадь на колени, закрыл глаза и очень долго сидел, не двигаясь, слушая, как кровь шумит в ушах.

Всё внутри него остановилось. Остался только один звук, тонкий, детский, счастливый смех на солнечном крыльце в Саратове, когда он подбрасывал её в воздух и ловил.

— Я не позволю, — сказал он хрипло.

Агафья молчала.

— Я не позволю им. Они не имеют права. Они не…

— Они не берут, — тихо сказала Агафья. — Они знают. Это разное.

Он открыл глаза.

У печи, не двигаясь, лежал Тимоша. Он смотрел на Верещагина. Его огромные, тёмные, невозможно взрослые глаза были полны слёз.

Из-под пола, ровным, безликим, терпеливым голосом, как всегда читающим по бумаге, произнесли:

— Одиннадцать.

Он понял: это не конец. Это только начало списка.

Глава 10. Имена

Он не спал.

Всю ночь он сидел на полу у печи с девятой тетрадью на коленях и переписывал список. Отец Гавриил, видимо, надеялся на его терпение, потому что имена, тысяча сто сорок, шли стройными столбцами, по тридцать на странице, мелким каллиграфическим почерком, и рядом с каждым стояли коротенькие пометки: возраст, обстоятельства, иногда одно слово. «Дочь Мироновых, 3 г., в синем платке». «Мужик из рязанцев, уснул на ходу». «Девка, без имени, носила красную ленту». Были и такие, у которых вместо имени стоял прочерк и приписка: «Нет у меня имени. Узнаешь сам».

Он переписывал, потому что боялся, что если не будет двигать рукой, то завоет.

Перо скрипело. Свеча оплывала. Где-то под полом всё так же ровно, как маятник, шёл счёт, тихий, почти неслышный, в такт его дыханию. Он поймал себя на том, что пишет в такт этому счёту. Он отложил перо. Подождал. Счёт тоже остановился. Но тишина, которая наступила, была хуже звука: она стала слушающей.

К рассвету у него болели пальцы, а в списке, переписанном начисто на шести листах из чужой, найденной у Агафьи, тетради, стояло всё: от «Ермолаевой жены, 28 л.» до «Мироновых детей, троих: Петрушки, Марфы, Софьи». А на седьмом листе, только на одном, он вывел с тяжёлой, упрямой чёткостью слово, которое никак не мог ни прочитать, ни подчеркнуть: «Лёля».

Он долго смотрел на него. Потом вырвал лист, сложил вчетверо и спрятал за пазуху.

Агафья проснулась с первыми петухами. Она встала, подошла к лавке, где лежал Тимоша, и долго, не прикасаясь, смотрела на него. Мальчик спал. Он всё ещё был страшно бледен, дышал редко, ровно, и на лице его, прозрачном, как восковая бумага, глаза двигались под веками, как у человека, которому снится что-то очень важное.

— Два дня не проснётся, — сказала она. — Может, три. Он слишком много отдал.

— Вы его оставите?

— Я его не оставляла ни разу, — ответила она сухо. — Иди в церковь. Читай. Только не один. Один не вынесешь.

Он вышел на крыльцо, поскользнулся на ножах и едва не упал. Агафья молча подхватила его под локоть.

Снег в этот день был розовым.

Не от зари. От чего-то другого. Он лежал мягким, чуть тёплым слоем на всей слободе, и когда Верещагин сделал первый шаг, подошвы вдавили в него маленькие тёмные ямки, а ямки медленно, как рана, начали наполняться алой влагой. Он остановился. Присел, не касаясь снега, поддел его пальцем.

Снег пах железом.

— Кровь, — сказал он.

— Не кровь. — Агафья смотрела на землю, и губы её двигались беззвучно. — Они ночью плакали. Много. Весь холм. Сто восемьдесят лет терпели. А теперь услышали, что есть список.

Она выпрямилась и сказала тихо:

— Это хуже, чем если б они злились.

Слобода проснулась в странном, вздёрнутом состоянии. Люди выходили из изб, оглядывались, смотрели на розовый снег и не говорили ни слова. В воздухе стоял тонкий, нескончаемый звон, как будто где-то далеко били в тысячу тонких стёкол одновременно. У колодца кто-то уронил ведро, и оно, звякнув, прокатилось по обледенелым кругам. Никто не пошёл поднимать.

Двери были помечены.

Верещагин заметил это на пути к церкви. На каждой, на каждой без исключения, на высоте колена, виднелся отпечаток маленькой руки. Не ладони. Именно руки: тонкой, детской, с растопыренными пальцами, оставленной сажей или чем-то чёрным, жирным. Словно кто-то ночью обошёл слободу и прикоснулся к каждой двери, обозначив, где живут, кого надо взять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.